



"Лицом к лицу"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые за всю мою творческую практику я возвращаюсь вновь к давно уже опубликованному произведению. Повесть «Лицом к лицу» написана более тридцати лет назад. Пожалуй, именно с этой небольшой вещи и начался мой литературный путь. Если же она до сих пор сохраняет в себе некий смысл, интересный для современного читателя, то это говорит, мне думается, прежде всего о том, что была она задумана искренне. Я пытался вложить в нее тот жизненный опыт, который тогда у меня за плечами имелся, — ведь мои отрочество и юность совпали с войной и первыми послевоенными годами. В четырнадцать лет я стал секретарем айльного (сельского) Совета, затем был налоговым агентом, то есть собирал с семей денежный налог. Все это прошло через меня, через мою юношескую психологию как очень большое испытание. Я увидел людей в экстремальной ситуации тех военных и послевоенных лет и сам нес посильную ношу.

Казалось, теперь можно было бы и не вспоминать о прошлом, однако ныне, когда мы переживаем общественный подъем, я имею в виду перестройку и гласность, которые открыли для нас ранее запретные творческие ворота, нам стало особенно ясно, что далеко не весь урожай собрали мы с литературных нив в свое время. Да, многое было под запретом, многое подавалось тенденциозно, но были и своего рода установившиеся взгляды на то, как, допустим, надо изображать войну, человека на войне, — ведь мы победители, значит, соответственно этому должен выступать и литературный герой. И вот теперь, по прошествии многих-многих лет, пожалуй, к чести совсем еще молодого прозаика, каким был я тогда, можно отметить, что я обратился к теме, насколько мне известно, в ту пору почти никем еще не затронутой, — судьбе дезертира, его жены и его матери.

Повесть «Лицом к лицу» была напечатана в журнале «Октябрь», она получила читательское признание, и критика не обделила ее своим вниманием, но, повторяю, много времени прошло с тех пор, и все же я решил вернуться к ней и вспомнить то, от чего мне в свое время пришлось отказаться по цензурным соображениям, — от каких-то глав, каких-то поступков моих героев, которые прежде весьма осложнили бы судьбу моего произведения.

Думается, теперь мне удалось полнее показать всю глубину трагедии тогдашних людей, связанную с тем, что война стала для нас не только победоносным историческим событием, но она послужила и тяжелейшим испытанием для каждого человека в отдельности. Уже тогда осознавалось то, о чем мы печемся сейчас, война как таковая является страшной разрушительной силой, так или иначе она несет даже побеждающей стороне огромные бедствия и многие жертвы. Уже тогда происходил конфликт отдельной личности, отдельного человека с общепринятым пониманием долга — в частности воинского долга.

В прежней редакции эта коллизия оказалась несколько обойденной по той причине, что определенную роль тут играла тема раскулачивания, которая, как мы некогда полагали, являлась фактором классовой борьбы. Оно и на самом деле было классовой борьбой, так как велась та борьба против здравых крестьянских сил, против работающих крестьян и более того — против самой психологии крестьянина-труженика, которая воспитывалась многими и многими поколениями. Именно этот конфликт, это столкновение, это противоречие и повлияли на судьбу моего героя, который оказался дезертиром. Я попытался рассказать читателю, что это значило с общественной точки зрения, с точки зрения народной морали, с точки зрения гражданского долга, но одновременно мне хотелось показать трагедию этого человека и его

семьи, людей, которые тщетно пытались уклониться от этого конфликта, уйти от неразрешимого спора между личностью и долгом.

Думается, мне более или менее удалось восстановить первоначальный замысел в той его полноте, с которой следовало бы написать мою повесть, хотя прошли — повторюсь еще раз — многие и многие годы. Кстати, жизненная коллизия, сходная с той, в которой оказались мои герои, нашла позднее, а именно почти два десятка лет спустя, свое отображение, причем, по моему, более яркое, в повести Валентина Распутина «Живи и помни». После того, как я прочитал ее, я уже не возвращался к своей вещи, не перечитывал ее пристально, а вот теперь, при переделке, вдруг обнаружил, что был у меня тот же мотив, правда, буквально в двух-трех фразах о том, как моя героиня испугалась, что забеременела. Но, видно, опасения не подтвердились, страх забылся, она успокоилась, а у Распутина на этом построена вся его великолепная повесть. Впрочем, я не жалею — один пишет так, другой видит по-своему. Сейчас я вспомнил то, чего не сумел сказать прежде, потому что тогда это не было бы принято и понятно.

В свое время я обдумывал одно сюжетное событие, которое не решился включить в повесть именно из-за его связи с темой раскулачивания. Теперь же восстановлена целая большая глава о том, как умирает мать моего героя, а он не может даже похоронить ее, хотя находится совсем неподалеку. Незадолго до своей смерти мать, видя безвыходное положение сына, предлагает ему уйти туда, куда некогда бежали ее братья-кулаки. Вот тут и возникла важная связь трагических тем.

И в заключение мне хотелось бы выразить признательность Люсьену Лейтесу, моему швейцарскому издателю, моему доброжелательному другу и вообще замечательнейшему человеку за то, что он побудил меня вернуться к моей первой повести. Без него это вряд ли бы случилось. Я благодарен ему, ибо, написав три десятка страниц, почувствовал, что это сделано не зря.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Мимо единственного на полустанке фонаря косяками пронеслись охапки сырых тополиных листьев. В эту ночь тополя роняли листву. Прямые и стройные, как шомпола, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдаленный рокот моря.

Темна ночь в ущелье Черной горы. Но еще непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Время от времени темнота словно колыхнется от света и грохота поездов; поезда проносятся дальше, и снова на полустанке темно и безлюдно.

Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами. В приоткрытой топке паровоза сверкнуло огне-красное пламя; лязгнув буферами, вагоны остановились. Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул: «Какая это станция?» Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах. Только неостывшие оси колес продолжали еще тонко поскрипывать.

Когда дежурный по станции, размахивая фонарем и тяжело топая сапогами, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся дневальный. За плечом у него смутно блеснул штык винтовки.

Дневальный, вытянув шею, стоял у двери, напряженно всматриваясь в темноту и прислушиваясь. В ущелье, как всегда, дул резкий ветер, за приземистой станционной улочкой, где-то под обрывом, натруженно, подспудно гудела река. По лицу дневального скользнул холодный тополиный лист — словно коснулась щеки дрожащая ладонь человека. Дневальный отпрянул,

поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели, отошел к кустам у арыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял: это дежурный давал свисток к отправлению. Вагоны тяжело заскрипели, и поезд тронулся в свой дальний путь.

Отгудели над рекой пролеты моста. Дальше — туннель. Паровоз, прощаясь, заревел во всю мощь своей глотки.

Когда стихло эхо в скалах, когда наконец успокоились растревоженные галки на станционных деревьях, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой.

Все глуше и реже постукивали рельсы, откликаясь на бег удаляющихся колес.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов.

Темна ночь в ущелье Черной горы...

С тех пор, как Сейде родила, сон у нее чуток, как у птицы. Перепеленав ребенка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику [1]. Ее смуглая гладкая грудь, выпростан-ная наружу, мягко нависла над детской головкой.

вернуться

1

Бешик — детская кочевая люлька.

В углу, накрывшись поверх одеяла чананами, спала свекровь. Старая она, слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться Богу. Даже во сне бормочет: «О Создатель, вручаю тебе судьбы наши...» Когда Сейде уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь! Она и в поле носит ребенка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся. Старухе очень трудно, но она никогда не жалуется: кому, как не ей, нянчить первенца своей единственной снохи?

Давно уже за полночь, а все не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее не слыханные: «герман», «фашист», «повестка»... В аиле что ни день, то проводы. С курджунами, с мешками за спинами собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички и кричат на прощанье: «Э, полно вам слезы лить!» Брички трогаются, мужчины машут тебетями: «Кош! Кайыр, кош..." [2] Заплакан-ные женщины и дети, сбившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз, потом молча расходятся. Что-то будет дальше, что ждет их впереди? Вернутся ли с войны аскеры [3]?

Прошлым летом, когда Сейде, чабанская дочь, вошла в семью мужа, их дом еще не был достроен: стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни! Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, так же урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из арыка бежала теплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая кетменями, перемешивали полову с землей и, заголив ноги до

бедер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжелая работа: новое сатиновое платье Сейде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным, он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, балуясь, наступал ей в глине на ногу. Сейде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял ее, она сердилась для виду:

— Ну, оставь, оставь же! Ведь мать увидит — и не стыдно? — А сама тут же пряталась за плечи мужа, на мгновение прижимаясь к его спине сильными, упругими грудями. — Ну, довольно, говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, все лицо в глине!

— А ты сама-то ? Сперва на себя посмотри!

И Сейде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать и всякий раз, застенчиво отворачиваясь от мужа, с восхищением смотрела в зеркальце на свое раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты — стоит только смыть ее. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья. Пусть себе брызжется глина!

Вечером, искупавшись в арыке, она ложилась под урючиной в постель, тело ее долго сохраняло запах и прохладу проточной воды. А в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились иззубренные вершины снежного хребта, на люцернике, за арыком, цвела свежая, душистая мята, и где-то совсем рядом в траве пел перепел. Ее охватывало отрадное ощущение светлой спокойной красоты в себе самой и во всей окружающей ее жизни, и она еще ближе пододвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору! О том, как достроят дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе ее родителей и какие приготовят для них подарки... Все это было счастьем. Время тогда летело стремглав — не заметишь, как день сменяется ночью.

Когда засаманили стены, началась война. Кое-как, наспех, оштукатурили стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию.

Никогда не забыть того дня, не остыло еще горе разлуки. Словно вчера все это было. Мобилизованных провожали всем аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось: ведь она была здесь совсем новенькой келин [4]. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы; так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было послушаться сердца, отбросить стыдливость перед старшими, и, может быть, в последний раз крепко обнять, крепко поцеловать мужа. Как горько упрекала она себя! Не успела даже шепнуть ему на ухо о своей смутной догадке: кажется она забеременела. Но было уже поздно. Потерянного не воротить. Там, далеко в степи, пыль застилала дорогу. С той поры потянулись гнетущие дни, и все, чего она не сумела выполнить, теперь спеклось кровью в груди; она всегда ощущала в своей груди этот жгучий, мучительный комок.

Фитиль догорал. Жалко было отнять грудь у маленького: он так хорошо уснул с соском во рту; иногда вдруг шевельнется и опять нежно зачмокает. Далеко отсюда кочевали мысли Сейде.

Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий прерывистый стук. Сейде быстро отняла грудь, сбросила с плеч чапан и легкими шагами подошла к окну, бессознательно застегивая на груди пуговицы платья. Через низкое окно во дворе ничего не видать — мрак.

Сейде зябко передернула плечами, чуть слышно звякнули подвески на косах.

— Кто там? — подозрительно спросила она.

— Я... Открой... Сейде! — приглушенно и нетерпеливо ответил хриплый голос.

— Да кто ты? — неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик.

— Я... Это я, Сейде, открой!

Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери.

Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека.

— Сын свекрови! Сын моей свекрови! — сдавленным шепотом выговорила она по привычке и, уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени: «Исмаил!» Сейде заплакала. Какое счастье, какое нежданное счастье — ее муж вернулся живой и невредимый! Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой. Ворот шинели грубым ворсом царапает ей лицо, словно волосистой аркан.

Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело и, как слепец, торопливо шарит, гладит руками ее плечи и голову.

— Зайдем-ка в дом! — быстро прошептал Исмаил, сгреб ее в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде.

— Ой, да что ж это я, глупая? Мать, суюнчу [5]: сын вернулся!

— Чш! — Исмаил схватил ее за руку. — Стой, кто дома?

— Мы одни, сын твой в бешике!

— Постой, дай отдышаться!

— Мать обидится...

— Подожди, Сейде!

Все еще не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его, истово прижалась. В темноте они не видели друг друга, да надо ли видеть? Она слышала, как под сукном шинели отрывистыми, неровными толчками билось его сердце. Не во сне, а наяву она целовала его обветренные жесткие губы.

— Истосковалась я! Когда вернулся-то? Насовсем? — спрашивала она.

Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо:

— Прямо со станции... Подожди, я сейчас...

Он вышел во двор и, оглядываясь по сторонам, прокрался к сараю. Через минуту вернулся. В руках у него была винтовка. Нащупав ногой кучу курая [6] в углу, засунул винтовку под самый низ.

— Что делаешь? — удивилась Сейде. — Поставь в комнате!

— Тише, Сейде, тише!

— Почему?

Не ответив на вопрос, Исмаил взял ее за руку:

— Идем, показывай сына.

Почти каждый день, в сумерках, с дальних лугов, густо поросших чийняком и кураем, Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредет она по неприметным овечьим тропам с увала на увал и, когда аил уже близко, присаживается на бугре отдохнуть в последний раз. Ослабив петлю веревки, переброшенную через грудь, она вздыхает с облегчением и прислоняется спиной к вязанке. Хорошо сидеть так, на минуту забыв обо всем, и спокойно смотреть в небо. Внизу в аиле, тархтят брички, слышны голоса верховых, разъезжающих по улице. Ветер доносит знакомый запах кизячного дыма, прелой соломы и пережаренной кукурузы.

вернуться

2

Кош, кайыр, кош — до свидания, прощайте.

вернуться

3

Аскер — солдат, воин.

вернуться

4

Келин — молодка, невестка.

вернуться

5

Суюнчу — радостная весть.

вернуться

6

Курай — растение, сорняк.

Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейде

встрепенулась, натянула веревку, с раскачкой стронула с земли вязанку и, взвалив ее на себя, быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заняло сердце.

Сейде шла по улице, опасаясь, как бы не встретился кто-нибудь, не остановил бы ее. «Скорей бы кончились лунные ночи», — думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить ее к нему в убежище. «Не дай бог, а вдруг заподозрят!» Женщины уже не раз приставали, чтобы она показала им курайное место. Но брать их с собой нельзя: там Исмаил. Днем он отлеживался в пещере, а в темные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай под конулом [7] Сейде вырыла яму и прикрыла ее циновкой из чия и кошмой.

Так и живут. Старуха-мать никак не может привыкнуть к такой жизни — туговатая на ухо, она напряженно прислушивается к каждому шороху, поминутно вздрагивает, с жалостью и страхом поглядывает на Исмаила слезящимися красновекиными глазами. Кажется, она думает, украдкой вздыхая: «Эх, сынок ты мой, бедный сынок!»

Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела в аиле. Но это ни к чему. Ему не по себе, чаще он сидит молча, угрюмый, устало опустив плечи, и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрей накормить его, чтобы до рассвета он успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей и жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с больной старухой и сыном на руках. Исмаил очень изменил-ся. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на опухших щеках торчит взъерошенная борода. Иной раз он смотрит жалостно, беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблескивают в щелях век со скрытой жестокостью и яростью, бледнеет прикушенная губа. Жуть берет, глядя на него! В такие минуты Исмаил даже забывает с сыне, которого держит на руках.

Таким ли был Исмаил в прошлое лето? Черный от загара, жилистый, как журавль, он работал, не покладая рук, не зная усталости. Тогда они строили дом. Тогда все было ясно и просто в их жизни, ничто не смущало и не тревожило их. Надо было только жить и трудиться. «Вот построимся, обнесу усадьбу дувалом — от чужого глаза», — частенько говорил Исмаил, похозяйски оглядывая двор. А теперь он дезертир. Теперь он приходит в собственный дом украдкой, по ночам. И как только придет, уже торопится уйти.

Сейде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед нею с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем, забыть, забыть и хоть на один короткий час по-настоящему быть счастливой.

«Пусть он дезертир, пусть! — утешает она себя, раскатывая на доске тесто. — Мужчина знает, как ему поступать. Ведь Исмаил говорит: „Каждому своя жизнь дорога, а в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове“. Не мне его учить, значит так надо, ему виднее, разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что! Он и сам говорит: „Будь что будет, но под пулю не пойду. Хоть день да мой — у себя, дома. Что мне делать там, на фронте, где-то на краю света? Отцы-деды и во сне не видали тех краев... Кому как, а мне никакой нужды в этом нет, я не желаю... А если бы пошел, что изменится? Один я врага не одолею, и без меня обойдутся...“

Оно и правда, может обойдутся. Одним Исмаилом казна не обеднеет. Ну, сбежал, и что ж из этого? Никому никакого вреда, пусть себе бережется, подумаешь, разве ему охота погибать?.. Лишь бы зиму перебиться, — в доме кукурузы мало, дотянуть бы до весны... Да у других в аиле

не лучше, народ теперь живет не так, как прежде, — хлеба у всех в обрез. До весны то ли хватит, то ли нет... Тяжко придется...»

По утрам полынь над арыками покрывалась бородками инея и густо посыпала землю примороженными шариками семян. Временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец. Зима приближалась, туманная, хмурая... А войне не видать ни конца ни края, все больше народу уходило на фронт.

На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем еще безусых ребят.

— Ботом [8], еще вчера они бегали босоногими сорванцами, а гляди, как быстро вошли в рост. Теперь вот едут на войну, не вкусив радостей жизни. О пропащий герман, смерти на тебя нет! — горестно приговаривали старики и старухи, постукивая клюками возле бречек, остановившихся у двора, где пили бозо [9]. Здесь в последний раз собрались призывники с девушками и молодыми келин. Бесперывно хлопали двери бозокерской кибитки, слышны были пьяные голоса поющих. Их пение хватало за сердце: слышались в нем и печаль, и решимость, и пьяная удаль, и раздумье.

Старухи отжимали слезы с ресниц:

— Эх, родненькие, пусть скорей придет день, когда мы снова услышим ваши песни!..

Сейде тоже была здесь, среди молодых. Еще утром ее любимый кайни [10] Джумабай пришел навеселе.

— Собирайся, джене [11], мы заказали бозо, повеселимся напоследок. Идем!..

Не хотелось Сейде обидеть парня, но все же она попыталась отказаться: молола в это время на джаргылчаке [12] талкан [13] для Исмаила.

— Неудобно мне идти туда, ты не обижайся. Я провожу вас на улице...

— Как это неудобно? Ты же меня провожаешь, своего кайни... Нет, пойдем, ради Исмаил-аке пойдем. Может быть, он сейчас в самом пекле войны... Если придется встретиться на фронте, скажу: сама меня провожала, привет передам... Чем я хуже других? Всех провожают родные, а я что?..

Сейде не нашлась, что ответить, смутилась — даже Джумабай это заметил:

— А что, стыдно стало? Ну, то-то! Идем...

И вот она сидит в доме бозокера [14], не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком и молчит.

Насколько дорог тебе человек, это со всей остротой чувствуешь только при расставании. Вот эти парни, которые завтра глянут в глаза смерти, сейчас гомонят перекидываются шутками, поют и, может быть, именно поэтому близки как никогда. В эти минуты они думали не столько о себе, о своей судьбе, сколько о людях, остающихся в аиле, и желали им на прощание здоровья и счастья: и только за это одно хотелось сделать для них что-то большое и хорошее, всю душу свою отдать.

Вот Джумабай, пунцовый, забавно хмельной от бозо, поднялся с кошмы. Поглядеть на него — все еще нескладный, угловатый подросток. Он взял в руку чашу с бозо — пришел его черед спеть на прощанье.

Брат Джумабая, Мырзакул-ырчи [15], недавно вернулся с фронта без руки. Сейчас он председателем сельсовета. Даже ребятишки распевают его песни, послушаешь — за душу берет.

Джумабай запел одну из самых любимых песен брата с протяжной задумчивой мелодией:

Эй-и-и!

Шестьдесят вагонов на прицепе
Подхватил крылатый паровоз,
Я покидаю свой аил —
Прощайте, мои родные...

Семьдесят вагонов на прицепе
Вскачь уносит резвый паровоз.

Я покидаю свой аил,
Прощайте, мои дженелер...

— Бау, джигит! — слышались дружные одобрительные возгласы. — Возвращайся с победой!..

Джумабай преобразился на глазах — словно посуровел и возмужал. Горделиво расправив плечи, смотрел он в окно на любимые горы; казалось, только теперь понял, что не пройдет и часа, как родной аил останется далеко позади. Он продолжал петь:

вернуться

7

Конул — пространство под нарами, на которые складывают тюки одеяла и кошмы.

вернуться

8

Ботом— выражение удивления, изумления.

вернуться

9

Бозо (буза) — род домашнего алкогольного хлебного напитка..

вернуться

10

Кайни — младший брат в роду по мужу.

вернуться

11

Джене — жена старшего брата.

вернуться

12

Джаргылчак — каменная ручная мельница.

вернуться

13

Талкан — молотое жареное зерно.

вернуться

14

Бозокер — человек, продающий бозо.

вернуться

15

Ырчи — айлыный певец.

...Мы уезжаем в сторону Арыси, Не отрывая взора от тебя, Ала-Тоо, Долго, долго нас провожали Твои сине-белые снега...

— Бау, джигит! — кричали ему. — Где еще есть такие горы, как наш Ала-Тоо!..

Теперь пели все: и юноши, и келин, и девушки.

А Сейде, уйдя в свои думы, забыла в эту минуту обо всем на свете. Ей казалось, она видит: далеко за туннельной горой по бескрайней казахской степи мчится на всех парах воинский эшелон, и джигиты, столпившись у дверей вагонов, поют и прощально машут в сторону сине-белых снеговых вершин Ала-Тоо, караванной цепью растянувшихся на горизонте. И горы удаляются, покрываясь дымкой. Ей казалось, что она тоже бежит, догоняя поезд, а потом, оставшись в степи одна, устало прислоняется к телеграфному столбу. Ее ухо слышит его гудение: словно темир комуз [16] выводит тоскливый «Плач верблюдицы» [17].

Растроганная этим прощальным пением, Сейде осторожно подняла голову. Джигиты уже собирались в путь. Иные плакали, иные смеялись спяну, но все, как один, были исполнены решимости. Они громко желали друг другу вернуться с победой. Они были как родные братья. И в душе женщины родилась и засияла материнская любовь к ним, сострадание, боль и гордость. Если бы она могла помочь!.. Мысленно она представила себе, как сейчас встанет и скажет во всеуслышание: «Остановитесь, джигиты! В самом расцвете сил вы собираетесь

уйти, покинуть родной аил. А вам только жить да жить! Пустите меня, я пойду и умру за вас!..»

И тут Сейде вспомнила: сегодня нужно отнести Исмаилу талкан. Исмаил ее ждет. И снова Сейде уронила голову; мысли ее перенеслись к дому: «Талкан недомолот, да и ребенок некормлен... Засиделась...»

Джигиты вышли на улицу, народ, ожидавший у бричек, колыхнулся, повалил навстречу.

— Благословим их! — срывающимся голосом крикнул с седла табунщик Барпы, скуластый, седой старик. Попридержав лошадь, он первым раскрыл свои натруженные дрожащие ладони:

— Оомин! Да поможет вам дух предков, возвращайтесь с победой!

Вслед за тем он взмахнул камчой и, согнув могучую шею, подрагивая плечами, зарысил прочь: мужчина не должен показывать своих слез.

Среди сутолоки и шума брички покатали под гору и вскоре скрылись в тумане. Некоторое время было слышно, как стучат колеса по мерзлой дороге и поют джигиты:

— Я покидаю свой аил, прощайте, мои дженелер...

Женщины плакали навзрыд, безутешно. Кто из этих цветущих юношей вернется, а кто ляжет в могилу на чужедальной земле? В горестном молчании стоял на бугре народ. И, глядя на скорбные лица айльчан, Сейде сказала себе: «Не буду гневать Бога, не буду мучиться тем, что мой муж — беглец. Лишь бы он был жив, лишь бы уберег себя!..»

Когда в аиле стихли голоса, Сейде засунула под чепан мешочек с талканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп и задами, крадучись, отправилась за кураем.

Туман лежал на пустынных увалах и в логах. Стояла гнетущая тишина — ворон не каркнет. И только кусты чия, намертво вцепившись дернистыми кочками в землю, ловили слабый ветерок, и каждый стебель посвистывал осторожно и тонко, по-змеиному. Боязливо озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку.

Еще с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой, и пускал лошадь вскачь. Но Тотой почти всякий раз замечала почтальона. Она уже не надеялась, что получит письмо, и все-таки, бросив ступу, которой обмолачивала собранные на поле колосья, выбегала на улицу и махала вслед почтальону жилистой худой рукой.

— Ай, почточу-аке, нет ли мне письма? — кричала она робким, неуверенным голосом.

Заслышав голос матери, трое мальчишек вырывались из-за дувала — они играли там весь день на солнцепеке — и, обгоняя друг друга, кидались что есть духу к почтальону.

— Письмо, письмо от отца!

Пока старый Курман соображал, что ему ответить, ребяташки уже окружали лошадь и хватались за стремя:

— Где письмо?

— Дай мне!

— Нет, мне, мне, Курмаке! Я возьму письмо!

— О-ой, чтобы враг вас сразил, письма-то ведь нет! О-о, кокуй-ой [18], что это за дети! — возмущался растерявшийся Курман. — Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весь аил!..

Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили: все еще ждали чего-то. Курману было жалко их, босоногих глупышей, и обидно за себя. Ну, что ты им скажешь?

— Или вы думаете, родненькие мои, что я спрятал ваше письмо? — бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую руку. Не верите, что ли? Да если б моя власть, я заставил бы его писать каждый день по три раза — все лучше, чем смотреть сейчас в ваши глаза... Сегодня нет, зато в другой раз обязательно будет. Бог даст, привезу в базарный день... Сон такой видел... А теперь бегите... Да передайте Сейде: для нее тоже нет письма, в базарный день привезу...

Старик, сдвинув на морщинистый бурый лоб заношенный тебетей и недовольно покачивая головой, трюхает дальше.

Тем временем лошадь его по привычке заворачивает на какой-нибудь двор, где почтальону появляться уже не к чему. Он впопыхах резко дергает повод, лошадь спотыкается, и обозленный почтальон бьет ее камчой по шее:

— Ах ты, чертова кляча! Чтоб копытам твоим не ступать по земле! Поганый конь — дурные вести возит... Да будь у меня письмо, я и сам пустил бы тебя вскачь...

Каждый раз, когда Сейде возвращалась с хворостом, ее встречал Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрепанными рукавами. У него удивительно чистые, выразительные глаза, взгляд немного наивный, мечта-тельный. Он всегда улыбается, обнажая передние зубы, среди которых уцелели не все; Асантай больше нравится женщинам, а вот старший брат его — мужчинам. Старший брат на Асантая не похож — упрямый и своенравный.

— Сейде-джене, от Исмаке опять нет писем, и нам тоже нет, — сообщал Асантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его щуплых плечах. — Курмаке сказал, что привезет письмо в базарный день. Он сон такой видел!

Из-под нахлобученной заячьей шапки смотрели на Сейде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, далее то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сейде выслушивать его бесхитростные слова! Огромная вязанка, которую она тащила так долго, не щадя себя, в эту минуту начинала неимоверно гнуть ее спину, словно она взвалила на себя камни. До двора оставалось каких-нибудь пять-шесть шагов; чтобы не упасть, Сейде шла, опираясь о дувал. Потом с размаху она бросила вязанку на землю и, прислонившись к дувалу, стояла с опущенными руками, не в силах поправить волосы, прилипшие к потному лицу. «О Боже, хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей!» — думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка Тотой получит письмо от мужа, то это и ей принесет какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоми-нала слова Асантая, и страх напал на нее — давно уже не спрашивала она, у Курмана, нет ли письма от Исмаила. А Исмаил все время внушал ей, чтобы она спрашивала.

«Спрошу в слудующий раз, — обещала она себе, но каждый раз передумывала:

— Нет, уж лучше не спрашивать!»

Тотой жила рядом.

Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь в аиле замерла, Сейде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, белье пришлось сушить над огнем. Ранним утром Сейде собралась по воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась: за ночь густо выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение. «Неужели забеременела? — Сейде покачнулась, выронила ведро. — Что скажут люди? — Но тут же успокоила себя: — Нет, не может быть. Это от бессонной ночи». Она старалась больше не думать об этом, она думала об Исмаиле. «Как он там сегодня? — спрашивала она себя, и у нее тоскливо сжималось сердце. — Легла зима, скоро ударят морозы, каково-то ему будет в пещере?»

вернуться

16

Темир комуз — киргизский музыкальный инструмент.

вернуться

17

«Плач верблюдицы» — народная киргизская песня о верблюдице, потерявшей верблюжонка..

вернуться

18

Кокуй — возглас удивления, досады..

Да, зима легла по-настоящему. Еще только вчера земля была черная, а сегодня даже горы от гребней до подошвы покрыты свежим снегом. Сизые иззябшие вербы согнулись над арыками. Вяло волокутся в небе тяжелые, сумрачные тучи. Небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы сузился, уменьшился. Снег все еще порошил, ветер, набегая порывами, взметал поземку. Люди еще не вставали: никому не хотелось выходить на холод в такую рань.

Сейде шла, опустив голову, и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму, ала кийиз: «Без нее не выдержать ему таких холодов...» Мысли ее внезапно оборвались, она увидела следы на снегу. Следы вели к реке. «Это, наверно, Тотой», — догадалась она и тут же увидела ее. Тотой шла навстречу с ведрами. На ее ногах — большие тяжелые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щеками, по углам рта морщины, чапан подвязан веревкой по-мужски, тугим узлом. Увидев Сейде, Тотой поставила ведра на землю и стала поджидать ее, растирая посиневшие от холода руки.

— Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело, — сказала соседка.

— Да, нет, что-то голова болит, — ответила Сейде, потом поспешно добавила: — А что мне делать ночью, если не спать? — И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у нее холодеет под

ложечкой. «Может, Тотой выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала? Сейчас спросит...»

— Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал, — попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова.

Тотой понимающе покачала головой.

— И-и, — протяжно проговорила она, — ты такая же одинокая, как и я! Старуха твоя — тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо еще, если вынынчит внука. Совсем одряхла... И родители твои не близко чабанят... Вот ведь как складывается в жизни, все одно к одному! — Тотой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сейде. Ей по-настоящему было жаль ее. Опущенные густыми ресницами глаза Тотой всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейде не видела ее такой. «В девичестве она, наверно, была красивая. И у Асантая тоже красивые глаза, материнские», — подумала Сейде.

Тотой глубоко вздохнула и сказала:

— Все убиваешься, писем нет... Что ж, судьба наша такая! Я осталась с тремя детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война... Сына родила — отец не видел... Обидно, конечно... Эх, все бы ничего, все переживется и перемелется. Да вот писем нет!.. Как подумаю, руки виснут... Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые... Кукурузы осталось всего два мешка... А что это для нас? — Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и, сурово блеснув глазами, подхватила ведра.

Испуганная и в то же время обрадованная тем, что Тотой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, ее бабья жалостливость, ее мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно Тотой, сама того не зная, обвинила ее в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы, и значит, Сейде не имеет права роптать. Сейде не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала: «А что ж мне делать? У каждого своя судьба. Что написано на роду, тому и быть. Если детям Тотой уготовано счастье, отец их вернется...»

Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.

Темно-густым багрянцем полыхало зарево по верхам клевера, и при каждом взмахе ослепительно ярко блеснул в руках Байдалы отполированный землей зеркальный кетмень.

«Умеет беречь воду, рука у него золотая!» — говорили о нем в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:

— Э-эй, что вы там? Бойтесь, вода утащит? Все равно в мои руки попадете. Не упущу!

— Чтоб твои арыки размыло, черт ненасытный! Чтоб тебе водой захлебнуться! — крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.

А он, очень довольный, продолжал хохотать все так же раскатисто.

Потом оглянешься и видишь: в надвигающихся сумерках идет Байдалы по полю, рослый, с покатыми сильными плечами, идет как странствующий добрый богатырь. Он идет через все поле, примечая огрехи, и удаляется все дальше и дальше...

Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставляла такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточенно гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:

— Зря ты ругаешься, байбиче. Живем не хуже других... Ну-ка, поди, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо... Вот они, мои богоданные молодцы!

С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало... Не было писем и от Исмаила. Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, приударял гнедка каблуками и норовил проскочить незаметно. Не мог он явиться с пустыми руками! Он испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсове-та, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. Откуда Мырзакулу знать? До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в айле. Исмаил очень осторожен.

— Сейде, времена смутные, народ ненадежный, смотри, чтоб никому ни слова! — предупреждает он каждый раз. — Если даже отец мой подыметя из могилы, и ему не доверяй! Слышишь?

Проезжая по айлу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Черный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. Любил скачки и никогда не расставался с комузом [19]. В айле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки — не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей: левое плечо опустилось вниз, шея вытянулась, на ней задубели шрамы, резче обозначились крупные неправильные черты лица, взгляд хмурый, цепкий. Теперь Мырзакул поет больше о том, что видел на фронте: то приглушен-но, сурово, то с гневной страстью звенит его голос, а когда Мырзакул забывается, то глаза его сверкают, как у сказочных батыров, и он встряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам комуза. Но теперь уж ему никогда не играть на комузе...

Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.

— Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? — Потом заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: — Здоров ли твой малыш, Сейде?.. Сверни мне сигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке... Дело есть... Потом управисься...

Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал айльную почту и знал все дела айла. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста...

Свернув сигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сейде раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя ее, слезает с лошади и с, наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь: о том да о сем...

— Хороший табак припасла, Сейде! — похвалил он ее однажды. — Пошли Исмаилу в посылке,

пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.

— Пошлю, — с трудом выговорила Сейде. Надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснела. Она притворно закашлялась:— Фу, какой горький дым, горло дерет... И что в нем хорошего?..

вернуться

19

Комуз — киргизский музыкальный инструмент.

Сказала как-будто к месту, но всю ночь терзалась: не выдала ли себя? «Пронеси бог и на этот раз. Нельзя, нельзя мне краснеть и голос надо сдерживать! Неужели он заметил? Сама виновата, смелости мне недостает, — ругала она себя. — А для чего это он сказал о посылке? Попросту или с умыслом?..»

В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрекнул ее:

— Байдаке каждую осень обрубал сучья и ветки, а в этом году вы этого не сделали... Старший-то твой уже работник... Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся...

Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:

— А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево — опора человеку?.. Если самого нет дома, ничего не мило... Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми... Вот и живем две соседки — ни слуха, ни весточки от наших, живы или мертвы, бог их знает! — Она отвернулась, прикусив губу. — А ты еще тут про деревья толкуешь...

Сейде оробела, сжалась, боясь, что Мырзакул сейчас выложит всю правду. «А ты не равняй себя с ней, — скажет Мырзакул, — ее Исмаил давно уже прячется. Здесь он, беглец!.. Да, это казалось неотвратимым в ту минуту. Но Мырзакул сказал другое.

— А ты знаешь, Тотой, может не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он и вдруг вспылал, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза: — Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы. Лучше вон переберите бодылья на крыше — навалили кучей не знай как, сгниет корм до весны! Хочешь, чтобы дети без молока остались? Да я вам за это головы поотрываю! Если одной не под силу, кликни соседку, здесь двое вас, соседок... Вдвоем-то вы одного мужика стоите... Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел... А вы у себя дома — ноете, что писем нет!..

Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:

— Мы сделаем, сегодня же ветки обрубим и бодылья перекладем!

Может быть, она сказала это слишком поспешно? Но сейчас у нее не было никакой задней

мысли, она говорила искренне, ей хотелось отвести разговор о письмах и в то же время было стыдно за себя и Тотой. Мырзакул больше ничего не сказал. Все еще возбужденный и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на нее — кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.

В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испытывала безотчетную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у нее такого ясного света в душе, такого подъема, когда все хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках. Она задорно покрикивала на ребяташек Тотой: они не столько помогали, сколько мешали. Но это не сердило ее. Хотелось петь, хотелось смеяться. Но всякий раз, вспоминая поразивший ее непонятный взгляд Мырзакула, она вдруг обмирала вся, и руки у нее опускались.

«Почему он так поглядел на меня? Значит, что-то подозревает? А может быть, мне просто показалось?»

И так повелось: каждый раз, когда навещался Мырзакул, смутение и страх охватывали Сейде. Все ждала, когда он спросит: «Где твой Исмаил? Куда ты его спрячешь?..» И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.

Когда Мырзакул уезжал, Сейде бежала домой, хватала трясущимися руками ковш с ледяной водой, пила, захлебываясь, обливала себе грудь и только позже, утолив нестерпимую жажду, могла собраться с мыслями: «Нет, он не знает! — уверяла она себя. — Если бы он приезжал подсмотреть или испытать меня, разве бы я этого не заметила? Ведь он просто спросил, как мы живем, и уехал. А если бы подозревал... Все равно от меня он ничего не узнает. Пусть хоть тысячу раз выпытывает. Исмаила я не выдам — никогда! Другие вон слезно молят Бога: только бы муж вернулся, только бы живой! А разве мне не дорог мой муж, разве я не просила об этом Бога ради нашего сына! Бог вернул мне Исмаила, чтобы я сама оберегала его...»

С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы — чилде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые, плотные сугробы. Тропинки, прокаленные морозом, звенели под ногами, как железо.

Опустел аил, приткнулся в затишке, дымя глиняными трубами, а над ним в мутной блеклой выси безмолвно стыли на ветру величавые вершины гор.

Жить изо дня в день становилось труднее.

В наружной, холодной комнате, нахохлившись, сбились в угол куры. Не выходят они во двор, жмутся друг к дружке. Наполовину прикрыв глаза белыми пленками век, сощурившись, печально смотрят они на человека. Покормить бы их зерном, да что поделаешь! В простенке за печкой в большом домотканном мешке хранится кукуруза, что ни день, то ниже оседает мешок — казалось, кукуруза убывает от одного взгляда. Сберегая зерно, Сейде еще с осени перестала ходить на мельницу. Там за помол берут зерном, так уж лучше молоть дома, вручную. Другой раз ночами не спит: днем на работе, а с вечера садится за джаргылчак. Горячей окалиной дышал тяжелый каменный жернов, огнем горели растертые ладони. В глазах темнело от щемящей боли в пояснице, но Сейде не бросала джаргылчак. Исмаил не должен сидеть завтра голодным. Просеяв помол, она откладывала горсточку на кашу для ребенка, а из остальной муки пекла Исмаилу лепешки. Сейде и старуха довольствовались дертью, что оставалась в сите. Из нее варили похлебку. Откуда же взять зерна для кур? Только бы самим дотянуть до весны.

Сейде держала кур, чтобы весной были яйца для малыша, но, видать, плохо рассчитала. Мяса нет. Когда приходит Исмаил, Сейде варит ему курицу. Была бы живность покрупнее, Сейде накормила бы мужа вдоволь настоящим мясом. Вот бы хорошо! Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа. «Сами-то мы у себя дома, хоть на воде, да перебьемся», — говорила она старухе, которая и без ее слов готова всем пожертвовать ради сына. И все же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сейде сжималось в горячий комок от стыда и жалости.

Прикрыв лицо грязным платком, в засаленной пролежалой шубе поверх шинели, прокоптившийся, как бродяга, появлялся он у порога в буранные ночи. Немножко отойдет с мороза, тяжелым духом так и пахнет от него. Страхивая над огнем вшей с его рубахи, Сейде незаметно бросала на него жалостливые взгляды и думала в отчаянии: «Ох, что станется с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!..» А он сидел у огня сычом, мутно и зло поблескивали его одичалые глаза. Лицо, как кошма, загрубело от холодов.

Сейде понимала: тяжело ему; она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами. «Муж и жена всегда вместе: в беде и горе, — убеждала она себя. — Что бы ни свалилось мне на голову, все должна я вынести. Только бы Исмаил уцелел... Переживется, перемелется, стерплю... Вот Тотой одна с тремя детьми, по горсточке делит между ними талкан, и то держится, вида не подает...»

Позавчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста ее догнал Мырзакул.

— Поймай, Сейде! — окликнул он ее.

Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мырзакул подъехал к ней на рыси, нагнулся с седла и пристально всмотрелся в лицо. «Узнал! — ужаснулась Сейде. — Так и есть? Чего тянешь? Да говори же!» — чуть было не крикнула она. Так мучительно долго, так каменно-спокойно смотрел на нее Мырзакул.

— Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде, — проговорил он.

— О чем? — спросила Сейде, но не услышала звука своего голоса. Вслух она произнесла это или только подумала?

— Да ты что! Что с тобой? — встревожился Мырзакул и смутился от своей неловкости: ведь напугал женщину, от мужа писем нет, всякое может подумать, вон как побелела. — Да ты не бойся, ничего плохого не случилось... Просто хотел сказать тебе: завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков... Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливая, не обидишься. Кое-как разделили по пять, по десять кило на многодетных, таких, как Тотой... Только не шуми завтра, всем бы нужно дать, да не из чего.

У Сейде отлегло от сердца...

— Ну что же, нет так нет, — ответила она, приходя в себя. «Мне не надо, это верно: лучше помочь таким, как Тотой, а я перебьюсь», — хотела она сказать, но не посмела, не хватило духу.

Мырзакул понял это по-своему.

— Но ты, Сейде, смотри, не думай плохое, — как бы оправдываясь заговорил он. — В другой раз и тебе дадим... Обязательно... это я обещаю... Ты и старухе так скажи, а то будет ворчать:

«Мырзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет...» Я рад бы сделать для своих да сама видишь... — Мырзакул задумался, оглядел заснеженные айльные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то еще собирался он сказать, но, видно, не решился. Он снова посмотрел ей в глаза странным, непонятным взглядом, как тогда, во дворе Тотой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили: «Я знал, что ты поймешь меня... Я всегда верил тебе... Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... Давно уже люблю...»

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и волнения, Сейде невольно отпрянула назад. В ее широко раскрытых глазах застыло удивление, она была сейчас очень хороша.

— Я пойду! — тихо, но твердо сказала она.

— Пстой! — Мырзакул колебался. Он взялся за поводья, потом опять опустил их.

— Пстой, Сейде! — повторил он. — Если тебе туго придется, ты от меня не скрывай... Для сынишки твоего на кашу... шинель с себя продам, но достану...

Сейде, слушая, молча кивала головой, не знала, что и подумать. Она испытывала благодарность к нему. Но глаза ее были холодны и отталкивали: «Не тронь меня! Не смотри так, я тебя боюсь! Опусть, я уйду!».

Мырзакул медленно опустил веки, а когда, распрямившись в седле, снова взглянул на Сейде, глаза у него были такие же, как всегда. Он сказал ровным голосом:

— Ну, иди, сын-то, наверное, плачет...

Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понутив голову, не оглядываясь, Мырзакул ехал по-над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не понукал ее. Может быть, потому, что Мырзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. «Говорит, шинель с себя продам... А ему же холодно!..» — подумала Сейде, и вдруг что-то небывалое колыхнулось в ее душе. Горячая нежность, жалость неожиданно переполнили сердце. Хотелось побежать, остановить его, согреть ласковым словом, попросить прощения... «Что же ты нашел во мне, замужней? Разве мало в айле хороших девушек? А ты и не знаешь, что муж мой при мне...»

Все перепуталось в ее голове, сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома Сейде испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы.

Вчера аил облетела черная весть. Женщины в табачном сарае перешептывались между собой, а когда мимо проходила Тотой с тюком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них, в черной шали, с еще не зажившими на лице следами глубоких царапин, не удержалась и шумно всхлипнула:

— Несчастные сироты! Пусть ваше горе падет на голову германа!..

В сельсовет пришло извещение о том, что Байдалы погиб под Сталинградом.

В последнее время то на том, то на другом краю айла часто слышатся траурные крики мужчин: «Боорумой! Боорумой! Боорумой! [20]... — кричат они, раскачиваясь в седлах из стороны в сторону. А в ответ им из кибитки, окруженной толпой народа, доносятся надсадные вопли женщин. Они садятся спиной к двери, ногтями раздирают лица в кровь и голосят:

Уздечка твоя из серебра, А сам ты был храбрый, как лев, Уздечка пустая висит на стене, — Черный платок на моей голове, — Сын твой отомстит врагам!..

О-о-о-ха, э-э-эй-и!

До самой полуночи, до изнеможения и хрипоты причитают женщины, оплакивая погибших на фронте. И каждый раз, когда всем аилом собирались голосить в доме погибшего, Сейде станови-лось страшно, она боялась показаться на глаза айльчанам и, сама того не замечая, пряталась за спиной других. В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто ее не видел и не слышал.

Вот теперь дошла очередь и до Тотой. Возле ее дома тоже будет толпиться народ, она тоже будет голосить и раздирать лицо ногтями, а ее малыши обязаны, как настоящие мужчины, крепко повязаться кушаками, выйти во двор и, опираясь на палки, встречать мужчин громким плачем: «Атамой [21], эсил кайран [22] Атамой!..» Бедная Тотой, она еще не знает, какое горе свалилось на ее плечи! Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мырзакула. У киргизов не принято гово-рять о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики. Вместе с похоронной бумагой в адрес правления колхоза пришло письмо от командира полка.

Он писал, что подразделение пошло в атаку и оказалось зажатым в узкой полосе между берегом Волги и заминированным проволочным ограждением. Положение создалось безвыход-ное, люди гибли под пулеметным огнем, никто не осмеливался первым приблизиться к минному полю. И вот тогда Байдалы по своему почину бросился на проволоку. Мины взорвались, образовав проход. Враг был выбит с позиций.

Выслушав это письмо, аксакалы, собравшиеся в доме Мырзакула, почтили память земляка молчанием. Долго длилось это молчание. Молча читали молитву.

— Ииех! — наконец вздохнул почтальон Курман и насунул тебетей на глаза. — Умел он беречь воду, руки были золотые... Где Байдалы проведет воду, там всегда хлеб родит... Да, вот! А детишки его проходу мне не давали: «Курмаке, когда привезешь письмо от отца?» Я все обещал в базарный день, и они верили. А оно вон как обернулось... Ну что ж, судьба народа — судьба батыра!

Мырзакул спросил у аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. «Раз уж пришла бумага начальника, что погиб, тут ничего не поделаешь, — ответили старики. — Но ты, Мырзакул, послушайся нас. В такую тяжелую годину, когда Тотой носит детишек в зубах, как щенят, спасая их от голода, не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Тотой опустятся руки, что будет с ее детьми? Нет, не можем мы лишить ее последней надежды. Лучше отложить это дело до осени: соберем урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями...»

Весь аил нашел это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, всплакнули украдкой: ведь Тотой ничего не знает.

Ночью пришел Исмаил, и Сейде рассказала ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть, и нет. Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережет свою жизнь? А Байдалы, очертя голову, бросился на мину. Ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего.

Молча выхлебав большими, гулками глотками полную чашу похлебки, Исмаил недовольно буркнул: — Еще есть?

«Куда уж ему тут горевать по другим? Сам день и ночь на холоде, глаз не смеет показать, да к тому же день сыт, день голоден...» — думала Сейде, оправдывая Исмаила.

Проводив его, она долго не могла уснуть. Ветер свирепо швырял в окно снежную крупу, продрогшая собака где-то на окраине плаксиво тявкнула раза два и загнусавила: «Су-у-у-ук! Су-у-у-ук" [23]. Сейде бросило в дрожь. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле, по зарослям чия кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил, один среди ночи, пробирается к себе в убежище. А тут еще сын расплакался. Плохо спалось в эту ночь.

вернуться

20

Боорумой — брат мой родной.

вернуться

21

Атамой — от слова «ата» — отец.

вернуться

22

Эсил кайран — выражение, употребляемое мужчинами при оплакивании ближнего.

вернуться

23

Суук — холодно.

Утром прискакал почтальон Курман. Одновременно он исполнял обязанности рассыльного при сельсовете. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен.

— Сейде! — застучал Курман в дверь. — Из района прибыл инкуу [24], срочно требует тебя! Собирайся живей!

Сейде выбежала на стук и все сразу поняла. Даже не спросила, зачем ее требуют. Молча стиснула зубы. «Исмаил, родимый, как же быть теперь?» — пронеслось в ее голове. Тут прибежал Асантай... Кажется, он думал, что Курман привез письмо от Исмаила.

— Суюнчу, Сейде-джене, письмо от Исмаке! — радостно крикнул он, но, увидев побледневшую Сейде, смолк на полуслове. Виновато поглядывая на нее, мальчик отошел в сторону, поеживаясь то ли от холода, то ли от стыда.

— Вот еще несчастье-то! — с досадой проговорил Курман. Неизвестно, к кому относились эти слова: к Сейде или к мальчику. Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускакал.

Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели, с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова ее кружилась, земля уходила из-под ног. Пока шла, в мозгу лихорадочно колотилась безысходная мысль: «Поймают Исмаила, увезут!» Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все ее колебания: «Не отдам Исмаила! Не отдам!» Для Сейде уже не существовало страха, она стояла перед столом и мысленно твердила себе эти слова, как клятву: «Не отдам Исмаила! Не отдам!»

— Садитесь, — сказал оперуполномоченный НКВД. Сейде не слышала.

— Садитесь, — повторил он.

Сейде, как во сне, нащупала табуретку и села.

Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытующе поглядывая на нее и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что ее муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами.

— Где он сейчас? — спросил уполномоченный.

— Не знаю, я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Вы не скрывайте, мы его все равно найдем. Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь.

— Не знаю, я ничего не знаю. Его взяли в армию, а больше мне ничего не известно. Сбежал он или не сбежал, я этого не знаю...

Что бы уполномоченный ни спрашивал, как бы ни убеждал, Сейде на все отвечала коротко: «Не знаю». А сама думала: «Не враг я себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу!»

— Ничего я не знаю! — твердила она.

Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился Мырзакул. Он порывисто шагнул от коновязи, на ходу докуривая сигарку. Напряженный и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безрукое плечо, тебетей был плотно надвинут на брови.

Увидев Сейде, Мырзакул остановился. Окинул ее цепким взглядом исподлобья.

— Была там? — кивнул он на дверь. — Сказала?..

— А что мне сказывать? Я ничего не знаю, — ответила Сейде.

— Во-он как! — Мырзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурочек, растоптал его сапогом и резко вскинул брови.

— Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? — спросил он в упор. — А совесть перед народом? Куда ты ее денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета, все, кто носит тебетей на

голове, — мы все пошли, ни один не остался. В добрые, в лихие ли дни — упаси бог отойти от народа! Позор всем нам! Ты понимаешь это? Отвечай мне: ты понимаешь?.. Пока не поздно, приведи Исмаила, пусть он воюет там, где все.

Сейде стиснула запрокинутые на шею руки, каждое слово Мырзакула вырывало из этих обессиленных рук то, чем они никогда не могли поступиться. Еще одно его слово, и все будет кончено: она не выдержит, упадет на землю и признается во всем...

— Ты... ты меня совестью не бей! — исступленно крикнула она.

И это было все, что она могла сделать. Ослепленная отчаянием и яростью, она рванулась к Мырзакулу:

— Может, он и сбежал! Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорожку? Или тебе мало места в аиле? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?

Мырзакул оцепенел, культя его судорожно взметнулась, выдернув порожний рукав из кармана шинели, лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух.

— З-значит, я в-вернулся калекой потому, что я д-дурней твоего Исмаила?

— Мырзакул кинулся в сторону, нагнулся, словно ища что-то на земле, потом подбежал к Сейде, занес над головой камчу и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. Над головой свистела камча, а Сейде как замороженная смотрела на куцый обрубок его руки, который тоже вздрагивал и дергался в мотающемся рукаве. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы Мырзакула, его страшные, горящие ненавистью глаза. Потом она увидела, как он тщетно пытается сломать камчу о свое колено. И опять обрубок его руки беспомощно дергался взад и вперед.

Широко размахнувшись, Мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как к кровоточащей ране, скомканный в кулаке рукав шинели. Он бежал, не оглядываясь, по огородам, через сугробы и арыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.

Все еще не понимая, что произошло, Сейде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят ее избитые плечи. Обида душила ее, хотелось закричать, громко заплакать.

Потом она шла по улице, ничего не видя перед собой; режущий ветер слепил ее сухие, немигающие глаза, ноги путались в поземке. Мысли были так же жгучи, как и рубцы на шее. «Он избил меня, опозорил! Я скажу Исмаилу, он отомстит! — твердила она. Но тут же изменяла решение: — Нет, не скажу: Исмаил кинется в аил, и его могут поймать. Лучше промолчу, стерплю, но в душе никогда не прощу, до самой смерти... Недаром говорят: «Брат брату враг [25]. Мырзакул ненавидит Исмаила за то, что он живой и невредимый... Будь проклят ты, Мырзакул! Я никогда больше не погляжу тебе в глаза...»

Вернувшись домой, Сейде ткнулась лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала:

— Бил меня Мырзакул, мама, бил...

Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывистый голос свекрови:

— Родимая ты моя, дитя мое, кормилица... Вся надежда на тебя, ты наша опора... Все вижу, все знаю. Век мне молиться на тебя... Стерпи уж эту обиду, смолчи... А нас с Мырзакулом пусть бог рассудит, забыл Мырзакул родовой долг...

Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в аил.

К весне у многих аильчан хлеб подошел к концу — остатки выскребали. Только и речи было — поскорее бы уж отелились коровы да дожждаться бы молодого ячменя, а там пшеница подойдет. Но сказать легко, а попробуй дождись.

«Весной скот тощает, кость гнется». Человеку тоже не легче...

Сейде переживала самые тяжелые дни. После ее столкновения с Мырзакулом Исмаил перестал ходить домой, ни днем ни ночью он не покидал пещеры. Отправляясь за хворостом, Сейде сама приносила ему пропитание, а если не удавалось днем, шла ночью. Все бы ничего, но одно ее очень тревожило: Исмаил стал ненасытный. Сколько ни принеси, все подберет до крошки: может, и наелся уже, а глаза по-прежнему голодные, жадные.

— Дома-то осталось еще или придется подыхать с голоду? Ты не скрывай, говори правду? — допрашивал он.

— Зачем так говоришь! — упрекала Сейде. — Лишь бы ты жив был, а для живого человека всегда найдется кусок хлеба...

Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстила-ла на снегу мешковинный полог и до самого вечера перевевала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло в охвостья, сейчас она вывевала, собирая по зернышку. За день набирался кулек сморщенных, шуплых зерен. По ночам Сейде молола их на джаргылчаке, пекла Исмаилу хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сейде заветная мечта — о телке. Пошли корове Бог благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь... Что у него на уме? О чем он неотступно думает? А если откроет рот, больше всего говорит о еде, и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплевывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит:

вернуться

24

Инкуу — от слова «НКВД».

вернуться

25

У киргизов все мужчины одного рода считаются братьями.

— Кровь у меня стала холодная: воды в ней много: Очень много...

Что-то недоброе всколыхнется в глубине его глаз, и опять молчит, упорно молчит. О чем он

думает в такие минуты? Как бы не потерял рассудка...

«Может, он тоскует по сыну?» — подумала однажды Сейде. На другой же день, выкупав ребенка, она надела на него чистую одежонку, укутала и вышла с ним на улицу.

— В гости к своим схожу, в Малое ущелье, — отвечала она на вопросы соседей.

А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. В аил вернулась через сутки...

Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь. Снег, точно квелия кошма, сразу расплылся рваными прогалинами, земля дышала паром. Над долиной стелился оттепельный ветерок, талая вода журчала в арыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы.

С гумна на краю поля несет горячим, слезавшимся духом: кто-то ворошит там солому. Это Сейде. Набив мешок половой, она тащит его на бугорок и посвистом вызывает покровителя ветров. Как крупницы золота в песке, выскивает она хлебные зерна. Утомительная, нудная работа. Но для Сейде это не в тягость: что бы там ни случилось, а она должна прокормить Исмаила до конца весны. А там, бог даст, откроется перевал...

Вон за тем неприступным хребтом, за нетронутыми сине-белыми снегами лежит Чаткал.

Скорей бы пришла весна, скорей бы дожидаться начала лета...

Так ожидает человек того круговорота времени в природе, когда после зимы он жаждет тепла и новой энергии, как возвращения утраченной свободы, ибо воскресала природа, умиравшая на зиму, и воскресал дух... Но то, что ждала Сейде, заключало в себе гораздо большее. С открытием пути через неприступный в другие времена года снежный перевал — открывался путь на Чаткал, путь к спасению мужа и всей семьи. И она хорошо понимала: то была для них единственная возможность, единственный выход...

Теперь она постоянно думала об этом, думала упорно, с надеждой, страхом, — и все-таки надежды было больше, — думала с благодарностью к свекрови, ибо именно она, старая Бексаат, истомленная и измученная судьбой сына, первая пришла к мысли — надоумила молодых уходить в Чаткал...

Сейде и прежде доводилось слышать в аилах удалую песню конокрада:

Я коня увожу, Как огонь из костра, Я в Чаткал ухожу, Через льды и снега...

Никогда не придавала она значения этой песенке и никогда не предполагала, что Чаткал станет для нее обетованной землей, самой желанной на всем свете...

И для Исмаила, одичавшего, оглохшего от собственного плена, свет забрезжил впереди, — как в той песне конокрада, — через льды и снега в Чаткал рвалась душа, и только об этом были теперь его помыслы.

Мать Исмаила — тихая, болезненная старушка Бексаат в ту зиму жила жизнью крота, затаившегося в норке под кучкой земли и лишь изредка высовывающесоя, чтобы глянуть — стоит ли мир на месте. При том положении, что приходилось скрывать от других сына-дезертира, чуть подсказывало ей никуда не выходить со двора, нигде не показываться, избегать лишних встреч и разговоров с односельчанами. Иного образа поведения трудно было придумать. Сидела с внучон-ком дома, с нее и спрос был не более того.

Самое же главное — такая жизнь матери вполне устраивала сына и невестку. На нее они могли положиться. Не будь старухи, как бы они выходили из положения, как бы Сейде могла оставить ребенка дома, чтобы сходить за хворостом, а заодно и в убежище мужа в предгорьях.

Сколько раз, бывало, до случая избиения ее Мырзакулом, предупреждала Сейде сама свою свекровь уметь держать себя, если вдруг кто спросит о сыне, как и что, мол, не прятать глаза, а посетовать на судьбу, откуда, мол, знать мне, старой и темной, что происходит в теперешнем мире. Исмаила, мол, как забрали в армию да отправили на фронт, так и никаких вестей. То ли письма где-то теряются по дороге, кто его знает. Молю Бога, мол, чтобы единственный сыночек, единственный отроду, жив бы остался, а тогда, рано или поздно, вернется. Доживу ли, одному Богу ведомо, — ну и прочее в этом же духе.

Старая Бексаат понимающе кивала при этом. Одряхлевшие щеки ее увлажнялись неприметно сочившимися слезами, и такая несчастная становилась старушка, эдакая маленькая, худенькая, сникшая, что Сейде не находилась как быть — то ли пожалеть ее, то ли образумить:

— Да ты что, эне [26], зачем слезы понапрасну льешь. Не гневи Бога! — укоряла сноха. — Как бы то ни было, радуйся, что жив, пусть и в бегах. Ночью, на часок, да приходит домой. Пусть тяжело, пусть стыло, в дождь да снег, но все же лучше, чем там, на войне, вон сколько народу гибнет... Сам же он и говорит, сын твой, зачем мне голову класть на чужбине. С чего мне воевать там, когда краев я тех в глаза не видел, и никогда и никто в роду моем там не бывал. Кто начал войну, пусть сам и воюет. А я пережду, мое дело сторона, перетерпим, посмотрим...

Слова эти пересказывала и повторяла Сейде всякий раз, как возникал неизбежный разговор, особенно по вечерам, когда в аиле угасали огни один за другим в обледеневших окнах, утихали озябшие собаки, устраиваясь в укромные места на ночь, и каждый дом, каждая семья уединялись сами по себе у догоравших печек и очагов, отъединившись от внешнего мира до утра, до первых петухов и мычания коровенок. То были часы полной самоизоляции всех ото всех, и потому по вечерам больше думалось и больше переживалось. Старушка Бексаат обычно молча слушала невестку, когда они, усыпив малыша, невольно начинали разговор все о том — как быть, что будет... Свекровь при этом тяжело вздыхала, покорно покачивала головой в ответ, и когда разговор подходил к концу, всякий раз с одним и тем же исходом, в неопределенных выражениях: поживем, мол, увидим, — старушка не могла скрыть своего страха. Безысходно хваталась за голову, шептала едва слышно бескровными губами, точно бы кто-то мог услышать:

— Боюсь, боюсь, Сейде, чем все это кончится! Сейде при этом отчаивалась в душе, но виду не подавала, приходилось делать над собой усилие:

— Успокойся, эне, зачем плакать заранее. Вот теплеет, снег сойдет, земля просохнет, все легче станет и ему, и нам, — приговаривала она, чтобы только не всплакнуть самой. — А там придумаем что-нибудь, живые люди ведь мы, как-нибудь, что-нибудь придумаем. Только бы не узнал никто из айльных о нем, ты уж смотри, если что, ни слова: не знаю, мол, и все...

И они замолкали, каждая думая о том же самом, и не видели выхода, не знали, как же быть дальше. Но в ожидании Исмаила — он появлялся обычно к полуночи — принимались за дела, чтобы накормить и согреть его с дороги и чтобы к рассвету он снова покинул аил. Перед приходом мужа Сейде выходила во двор, закутавшись в тулуп, и поджидала его за сараем, чтобы предупредить, все ли в порядке, чтобы входил он в дом без опасений. Вглядываясь вокруг и прислушиваясь к доносящимся звукам. Сейде ждала с тревогой появления Исмаила и тем временем обращалась мысленно к звездам и луне, мерцающим над стылыми снежными горами вдаль. Только звездам и луне могла она излить изболевшуюся душу, только к ним обратиться, чтобы они, каким-то чудом услышав ее, повлияли бы на земные события,

оберегали бы ее мужа, ее малыша, старуху и саму ее от тех, кто как только узнает, что Исмаил дезертировал из армии, так повяжет их всех и погонит в Сибирь на издыхание. «Услышьте меня, — творила она свою звездную молитву, — только вам скажу. Вы там, на своем месте, и ничто вам не грозит, никто никого не преследует и никаких войн между вами не происходит. А мы тут не знаем, куда себя девать от войны. А на войне сколь народу — видимо-невидимо — гибнет. В нашем аиле уже и мужчин не осталось, все там. Сказали — воевать, сказали — биться, и все пошли как один. В душе-то никто не хочет умирать, но все идут. Отчего так? И если мой муж сбежал с эшелона, то и сам так решил — говорит, каждый хозяин своей голове, все равно где погибать. Так-то оно так, но чем все это кончится? Вот и молюсь на вас, звезды и луна. А кроме вас у нас никого нет. Мы со старушкой нашей только об этом и думаем. А дите еще мало, что с него, какой спрос? Но как-то обернется и его дитячья судьба? Говорю об этом мужу, а он свое — как я, так и вы. Когда, говорит, поженились — что было? А было то, что поклялись во всем быть вместе — и в беде, и в радости. Да я-то готова. Только как жить дальше? Сколько будет длиться эта большая страшная война в тех краях, куда всех гонят воевать? Сколько можно так, как мы теперь, жить, скрываясь ото всех, а вдруг узнают, тогда что?.. И его жалко, одичал уже, один, как волк без стаи. Тяжко ему. Кашляет крепко, простыл. И дома, почитай, все на исходе. Картошки в погребе едва-едва, той, что на семена оставляли, да и та прорастает. А с мукой еще хуже. Уж как мы бережем каждую горсточку, а хлеб печем только для него, а сами только на кукурузной каше... А в колхозе у многих, можно сказать, уже голод настоящий в домах. Едва-едва перебиваются и все ждут весну, когда коровы отелятся, когда молоко пойдет... Неужто и в прошлые времена людям жилось так худо? Говорят, что и прежде бедности было много, но войны такой не было. Лучше быть бедняком, но только не бежать ни от кого и ни от чего...»

вернуться

26

Эне — мать, мама.

Если Исмаил запаздывал почему-либо, — иногда он долго выжидал, чтобы во всех домах погасли окна, чтобы ни с кем не столкнуться невзначай, — то и Сейде оставалась ждать его за сараем терпеливо и верно и все время думала думу свою, изливала небесным светилам свою молитву. Эти размышления и много других мыслей прерывались лишь тогда, когда, наконец, Исмаил возникал поодаль в темноте. Сейде подходила к нему, холодная, намерзшаяся, позабыв обо всем, о чем только что думала, и уводила его домой... А на рассвете он снова исчезал. Пусть на короткое время, но были вместе...

Обстирывать его было не трудно, но сушить мужнины рубахи и штаны во дворе Сейде не решалась. Вдруг кто-нибудь заглянет и спросит — что тогда сказать? И потому выстиранное белье сушила у очага старая Бексаат. Терпеливо и долго держала она по ночам у тлеющих огней мокрую стирку.

И вот однажды, сидя у очага с просушкой на слабеющих старческих руках, заплакала она тихо и сказала, обращаясь к снохе:

— Сейде, все хочу сказать тебе — что-то у меня внутри, болезнь какая-то нехорошая. Все время боль в боку, как камень давит. Сплю — давит камень, хожу — давит. Чувствую, силы уходят.

— А что же ты молчала? И давно? — Сейде теперь только убедилась, как сильно сдала старуха, как померкли глаза, и поняла, чего той стоило молча, безропотно сносить снедающий изнутри

недуг. И ей стало не по себе. — А я и не замечала, — сказала Сейде виновато. — Надо же что-то делать, если так.

— А что делать? Ты только Исмаилу ничего не говори. Только ему ничего не говори. Сама понимаешь. Не надо. Потому я и молчала. Не до меня ему.

— Ну, как же так? Надо ведь что-то делать!

— Да я не об этом, доченька. Есть другая боль, которую я с собой не унесу. Моя боль, что внутри, уйдет со мной. Но, как подумаю, что будет с вами, как же жить, сколько можно терпеть и ему, и тебе такую жизнь, что глаз нигде не поднять... — и она расплакалась, еще больше комкая в руках полусухое белье и, всхлипывая, дергаясь худыми выступающими плечами, продолжала срывающимся то и дело на плач голосом:

— Ведь человек не может жить без людей. Он потому и человек, что с людьми. И его, единственного моего, жалко, не могу пересилить; если женщина змею родит, то и змея для нее своя плоть, как своя печень, не отделишь от себя. А он для меня все, ради чего жила на свете. Мне ли тебе рассказывать. Ты сама уже мать. И вот хочу тебе сказать, только ты мужу ничего не говори, ни слова. А перед этим вот что. Ты для меня, Сейде, ближе всех на свете, буду умирать — буду Бога молить о твоём счастье и больше ни о чем. И скажу Богу, что всем довольна. И скажу, что и на том свете буду просить только об одном. Вот и думаю, часом, за что нам такое наказание? Сама знаешь, родом мы не здешние, хотя для здешних свои люди давно. Передвинулись мы сюда потому, что как ни рожу, так помирает дитя. Слаб был здоровьем мой хозяин-то, как, сюда передвинулись, совсем хворым стал. И не знаю, что мы выиграли. А до этого троих младенцев похоронили. Ну так вот, а я на сносях твоим Исмаилом, четвертый он у меня. А мой-то муж и говорит: не везет нам здесь, дети мрут, давай переберемся в соседний аил, дальняя родня там, вроде, есть. А я так уж боялась: а если и этот помрет... Готова была хоть на край света. И переехали мы тогда сюда. Сынок родился и вроде зажили, а муж мой — все хуже и хуже ему со здоровьем. Кашлял сильно, легкими страдал. И через пять лет он умер. И осталась я одна с пятилетним сыночком. И тогда после поминок приехали мои братья, ты их не знаешь, ты их никогда не видела.

— Слышала, знаю. Сама как-то говорила. В Чаткал они подались, — подсказала Сейде.

— Верно, верно. Я же тебя сама предупредила, чтобы ты об этом никому не говорила. А братья мои были люди крепкие, работающие. Приехали и говорят, мол, давай мы тебя к себе поближе переселим, что тут одна вдовствуешь с сынком. Ты еще не старая. А вдруг да нового мужа найдешь. Всякое бывает. Здесь ты одна, а при братьях вернее будет, если кто надумает свататься. Переезжай, мы тебе поможем, а там как судьба... А я им говорю: спасибо, братья мои. Вы старшие, я младшая. Послушалась бы вас, да дайте срок. Годовщину покойника отмечу здесь, где он похоронен, как и полагается, а там видно будет. Скажете: «Приезжай» — так мы с сыночком подадимся к вам поближе. Да, Сейде, сношенька моя, был такой разговор с братьями моими — с Усенкулом и Арыном. А через год, после поминок, пока я думала да собиралась, начали народ кулачить. Ну, и тут уж им не до нас было. Оба мои брата — Усенкул и Арын догадались вовремя оседлать коней да махнуть за перевал, в самый Чаткал. А с ними и семьи перекинулись туда же. Ну, и осели там, стали тамошними жителями. В тех Чаткальских горах только летом на один месяц открывается перевал, верхом или пешком если, а в другое время туда только птица разве может пролететь, да и то замерзнет на лету, пока одолеет те хребты да горы. Вот они туда и ушли, чтобы с глаз долой. Сама-то я там никогда не бывала, но сказывали люди...

Задумавшись, старуха Бексаат примолкла, поправила обгоревшей кочерыжкой кизячные угли

в очаге, снова принялась просушивать рубаху сына, держа ее над жаром. Глаза ее были сухи, выплакалась, должно быть. «Боже, только бы она не померла, — со страхом подумала Сейде, глянув на ее бледное, изможденное лицо. Совсем неважно выглядела свекровь — как полуживой кузнечик, замерзший на тропке по осенней поре. — Только бы была жива. Как-то мне будет тогда одной?»

И тут ее осенила какая-то смутная догадка, но настолько неопределенная, что она и не стала додумывать ту мысль до конца, а лишь спросила старуху:

— Так что, эне, что ты хотела сказать — о Чаткале ты говорила?

— А то, вот что сказываю, — ответила та. — Так вот, братья мои подались с семьями в самый Чаткал. Как в воду глядели. В тех далеких горах никто никому не власть. Горы там всему власть: сумеешь прижиться, скотом обзавестись — выживешь, не сумеешь — никто не виноват: иди дальше, к узбекам спустишься с гор. Братья снялись да ушли — или выжить, или с концом, а дома их соседи, те, что победнее, разорили дотла. Да только проку никакого не видели, хоть и награбили. А потом голод нагрязнул. Ну, а перед этим мало-мальски хозяйственных людей всех покулачили тогда. По всем аилам как метлой прошлись. Многие так и сгнули в Сибири. А мои братья уцелели. Больше мы не виделись, правда. Говорят, и там они корни пустили, зажили неплохо. Перед самой войной, помнишь, летом, когда на базар ездили на станцию, там ко мне подходил один человек, лицо у него черное, а сам из здешних был когда-то, тоже в кулаки был прописан? Ну, так вот, приветы передал от братьев. Правда, разговаривали мы не долго. Пока ты с мужем платок выбирала себе, а мы говорили, рассказал он, что братья — Усенкул и Арын — живы-здоровы. Правда, постарели. Там они теперь чаткальские аксакалы. А живут вроде неплохо. Я тоже приветы передала. И сказала, что сына женила, что невестка у нас, это я про тебя.

— Ну и что? Ты к чему все это, эне?

— Да к чему? А к тому, что думаю я вот над судьбой своей, над жизнью вашей. Ведь вроде все обошлось. Когда братья в Чаткал ушли, осталась я одна. И одолела судьбу, как бы трудно ни было. В колхозе работала. Сына вырастила. Трактористом он стал. Зарабатывал неплохо. И ты тут, свет мой, пришла в наш дом. И вроде наладилась жизнь, а тут война! А дальше тебе известно. Вот и думаю, сколько же можно страдать, всю жизнь судьба против нас. То дети умирали, муж умер, братьев раскулачили, в колхозе от зари до зари работала, теперь стара и больна. Но страшнее всего война, а сын несчастный в бегах, и проклясть его не могу, не он затеял эту войну, не хочет он погибать, и ты мыкаешь теперь горе, и ребеночек ваш, внучонок мой, спит, как птенчик, а что будет с ним? И никто не должен знать, и все надо скрывать...

— Это все верно, — тяжело вздохнула Сейде, перебирая при свете лампы чашку зерна на помол. — Что ж, значит, мы с тобой такие горемычные. Ну, мы-то как-нибудь дома сидим, в тепле. А каково ему, в пещере? Огня не зажги, особенно ночью, чтобы кто не заметил. Сама знаешь, он ведь не очень разговорчивый, мужики все такие, при себе держат мысли. А недавно, я уж не стала тебе пересказывать, говорит: иду по полю — и вспомнил, что это то самое поле, где он первый раз на тракторе землю пахал. Говорит, с трактора слезать не хотел, работа кипела, и думалось ему тогда, что всю жизнь бы только и пахал, чтобы хлеб сеять... А теперь шел по тому же полю, как мышь — то ли сверху птица сцапает, то ли сбоку зверь придавит. Да, так и говорит.

— Вот и я об этом, — вставила старуха Бексаат, отворачиваясь сама от своих же слез, вытирая их бельем. — За что нам судьба такая. Чем неугодны! Не могу я собственного сына проклясть, но и помочь тебе с ним тоже нечем, вот совсем разболелась, камень давит в боку, а была бы я

молода да здорова, как прежде, когда молоком своим вскармливала сыночка, разве бы я сидела дома у очага. Да я на руках своих унесла бы его за снежный перевал, через вечный снег пробилась бы в Чаткальские горы, где каждый сам по себе жизнь свою делает, сумеет — хорошо, не сумеет — на себя пеняй. Вон ушли наши, когда кулачить начали, и головы сберегли. Вот и думаю я, часом, а не двинуться ли вам, коли дотянем до лета, в Чаткал. Берите дитенка и уходите, там вы найдете моих братьев или их детей, а мне куда — я уж останусь умирать...

— Постой, эне, постой! — перебила ее Сейде. — В Чаткал, говоришь, — и сама обрадовалась: ведь и она подумала где-то об этом. — Только давай поразмыслим как следует, — предложила Сейде, и они невольно замолчали. Свекровь принялась досушивать белье над огнем, а невестка сосредоточенно выбирала сор из кучки пшеничных зерен. Потом они снова заговорили.

В ту же ночь, не откладывая, когда пришел Исмаил домой, Сейде поведала ему о чаткальском замысле. И это явилось поистине великим событием. Впечатление было такое, точно бы перед взором Исмаила вдруг открылась дверь в глухой, крепостной стене. Он был потрясен и удивлен тем, что дома мать и жена нашли верный ход, путь к спасению, ибо ему открылся выход из собственного плена.

— Вот это да! Как вы могли придумать такое! — не переставал Исмаил удивляться и восхищаться. — Да ведь на Чаткале у меня, выходит, и в самом деле родные дядья живут. Да это же сам Бог послал, сам Бог велел, тут и думать нечего. Только бы теперь дожить до лета, дотянуть, а там, как только откроется перевал, не терять ни одного дня, ни одного часа... И как это мне в голову не приходило. Так я и не знал толком. Когда это было, я и помнить не помню. Ну, конечно, ты не говорила, боялась, скрывала. Кулаки они. А хорошо, что кулаками оказались. Теперь они в Чаткале, пойдись сыщи их. Кулаки! Для кого они кулаки, а для кого и нет! А на Чаткале, как только доползем, не у одного, так у другого человека узнаем, где они, мои дядья — Усенкул и Арын! Не так ли, мать! Ой, слава Богу, что есть у тебя такие братья...

Радости Исмаила не было предела. Его охватило ошеломляющее озарение. Еще ничего не произошло, еще стояла стылая зима, впереди предстояла слякотная, дождливая весна, еще далеко было до лета, еще не сошли снега в предгорьях, еще не забушевали дикие паводки с Великих гор, еще не сошли грозные обвалы и оползни на пути, еще ничего не было готово для такого тяжелого похода, все еще было впереди, а Исмаил уже не находил себе места. Он то вставал, подходил к окну, вглядывался нетерпеливо в небо, в ту сторону, где находился Чаткал, где в полночи сияли звезды над сизыми островерхими вершинами, и мысленно представлял себе, какой должна быть Чаткальская долина там, за обступавшими ее неприступными горами; потом он возвращался к очагу, к простывшей еде; в другие дни, кроме чашки с едой, его ничего и не занимало, сидел как на похоронах, а теперь преобразился, и как в былые дни, зазвенел у него голос, и взор его снова обрел себя. Пусть это происходило с ним лишь на тот час, лишь ненадолго, пусть через пару дней снова впадет он в тоску, в глухой клокочущей ярости пусть будет поносить зиму, горы, холод — весь свет будет он проклинать и будет плакаться, плевать в лицо судьбе и всерьез сожалеть, что он не птица, чтобы на крыльях перелететь через перевал в Чаткальскую сторону, — жена и мать понимали его и полностью разделяли его чувства, потому что они знали, чего стоит каждая минута его дезертирской жизни, ибо человек в его положении, спасая свою голову, по сути дела вступал на смертельный путь, как и на войне. Там его могли убить враги, здесь его могли убить свои...

А они, две женщины — мать и жена, — были сомученицами его бед и несчастий, жертвами своей верности и долга. Это они, оберегая его, брали на себя самое тяжелое и унижительное, куда более страшное, чем голод и холод, они брали на себя самые чувствительные удары судьбы — людскую молву и жестокость закона, они знали, что соседи уже шепчутся и только

щадя их, без вины виноватых, беззащитных и сирых, не говорят им в лицо то, что в другой раз открыто бросили бы в глаза. И то, что однорукий фронтовик Мырзакул, пусть и дальний родственник, но будучи председателем сельсовета, позволил себе поднять руку, то, что он избил кнутом Сейде, в ярости и обиде, это тоже было молча пережито и похоронено ими, женой и матерью, в их изболевших, исстрадавшихся бабьих сердцах ради него, Исмаила. Все это они знали, понимали, переносили, и теперь, когда появилась маленькая надежда на спасение Исмаила, они испытывали неведомое прежде облегчение и счастье и радовались тому, что были сопричастны этому событию.

А он уже строил планы перехода через Чаткальский перевал, точно бы могло это совершиться буквально с наступлением нового дня. И они, мать и жена, радовались тому от души, ибо засветился узенький краешек жизни, захватывающий, приобщающий их всех вместе к спасительному замыслу — уходу в Чаткал. Но в душе они также понимали, и мать, и жена, что не так просто будет осуществить задуманное дело, это легко сказать, но какие опасности ждут путника на штурме снежного перевала, где нередко люди погибали под лавинами, задыхались от высоты и стужи, об этом они предпочитали не затрагивать разговора. Да и по прибытии на Чаткал как все сложится, одному Богу известно. Однако в тот час, как сговорившись, они охотно откликались и поддакивали Исмаилу. И больше всего старалась мать. Старая Бексаат, перебарывая себя, пряча одышку, делала вид, что нестихающие боли в боку ей не помеха, что она не так уже страдает, и потому держалась, как обычно, вроде бы не обращая внимания, держалась изо всех сил, так как не хотела омрачить эту встречу, не хотела отвлекать молодых своими жалобами, хотя в душе молила бога, чтобы ей продержаться до рассвета, когда с уходом сына в укрытие она могла бы дать себе волю — плакать и стонать и в голос молила бы Бога не терзать ее плоть страшными муками, затмевающими свет и разум, чтобы внял он ей и вошел в положение, потому как не ко времени ей болеть, не ко времени тем более обращаться к знахаркам да лекарям, чтобы не приковывать лишний раз чужого любопытства к дому, не ко времени вдруг слечь в постель, когда судьба сына висит на волоске. И далее, сказала бы она тому, кто должен ее услышать наверху, что если ей суждено умереть, то позволили бы ей срок небольшой — дотянуть до того дня, когда сын благополучно преодолет Чаткальский перевал. Пусть тогда Тот, кто властен, забирает ее душу, коли пришел ей неминуемый предел. Но пока следовало бы повременить, и не ради себя просит она этой отсрочки, а только ради сына и невестки своей, которая ей дороже всех на свете. А если уж судить-рядить о жизни, выяснять, зачем было человеку жить на свете и что он нашел хорошего на своем веку, то сказала бы она, старая Бексаат, несчастная и горемычная, у которой сын — государственный беглец, что рада и довольна она тем, какого человека судьба ей подарила — ее невестку, ее Сейде. И если ее невестке будет отказано в счастье, если она окажется такой же горемычной, то чему тогда служит счастье, кому, какой женщине оно будет даровано? Зачем оно блуждает среди людей? Ведь без этого так трудно жить на свете...

Эти мысли одолевали старуху. Одна скликавая другую, эти мысли кружились в ту ночь, как стая птиц, собравшихся к осеннему отлету. И не думать она не могла, боль в боку подпирала, понуждала думать о том, о чем обычно не думалось. Болезнь всегда ведет разговор, другим не слышный. Старая Бексаат крепилась, чтобы не выдать того, что происходило на душе. И когда Исмаил стал мечтать и решать, как, и каким образом они двинутся с началом лета на Чаткал, когда он сказал: «На Чаткал уйдем всей семьей. Надо готовиться, надо все продумать», мать ответила:

— Да я уже стара, сынок, вы уж сами добирайтесь, а я останусь. Буду за вас молиться.

Исмаил на это горячо и искренне возразил:

— Да что ты, мать, как ты можешь такое говорить? Как это мы тебя оставим? Никогда такого

не будет. Без тебя мы не двинемся. Нет-нет, как я могу родную мать бросить. Такого я не понимаю. На себе понесу тебя, мама.

— Ой, да услышит Бог твои слова, родимый. Я бы и сама из последних сил поползла, если бы не слабость, стара я уже и больна, — робко вставила Бексаат, чтобы не очень обидеть сына. — А не то какой разговор. Конечно, мне лучше с вами, да вот как оно обернется.

— Ах, ты моя беспокойная эне! Я тебя понимаю, эне, но пока еще рано об этом говорить. — Сейде ободряюще улыбнулась свекрови. — Бог даст, тебе станет лучше к тому времени. Вот посмотришь. Тогда и порешим и двинемся. И скажем твоим братьям на Чаткале: «А вот и мы, принимайте! Вот привезли вашу сестрицу и сами с ней к вам на поселенье...»

И все вместе невольно рассмеялись над ее словами. Свекровь же поняла, что невестка уводит разговор от ее болезни. Да, так было вернее.

За этой беседой, взаимно обнадеживающей, предупредительной и потому облегчающей души, проходила ночь. Особенно Исмаил был в ударе. Раза два брал на руки спящего Амантура, тискал его, целовал и шептал ему: «Вот мы с тобой двинем на Чаткал, к дядьям нашим. И будем там как люди, как все. Приучу тебе маленького лошаденка, чтобы скакал ты на нем по горам. То-то будет весело, бабка и мать перепугаются, а?»

Он уже подробно расписывал, как следует действовать, чтобы двинуться на Чаткал.

«Конечно, перво-наперво дождаться лета, дождаться, когда откроется путь. А пока затаиться и ждать, чтобы никто не заподозрил. И сразу затем, не мешкая, в горы. А для этого все предусмо-треть. На перевале будет еще зима. Сказывают, что и вьюги случаются в ту пору. Значит, одежду теплую готовить. Особенно обувь. Пешком по камням, по тропам, по сугробам без крепкой обуви не доберешься. Конец придет. Затем пища, наготовить на неделю. Талкана побольше, и мяса вареного и сырого, котелок соли, дровишек. На перевале, кроме снега и ветра, ничего не найдешь. Я много рассказов об этом слышал. Правильно говорит мать — мясо нужно жирное, с салом. Чабаны только на этом и живут. Они-то знают, как на перевалы ходить. И всю поклажу, одежду и кое-что из постели для ребенка в курджуны уместить. Два больших переметных курджуна надо. А курджуны нагрузить вьюком на ослон. А где взять ослон? Это верно. Два ослон надо. На одном груз повезем. Да на другом, оседлаем, мать поедет с внучонком на руках, с Амантурчиком. А сами пешком пойдем. Не торопись, Сейде. Сейчас скажу насчет ослон. Так вот, сам бог послал нам помощь. Ты, наверное, забыла, я тебе говорил как-то, что в балке Кой-Таша бродит штук семь драных ишаков, покинутых добытчиками золота. Кто знает, золото или что другое добывали они, эти пришлые, но когда дела свои покончили, ослон бросили, а сами уехали, должно быть, поездом. С осени они там, эти бесхозные ослон, перебиваются на подножном корму, да объедают скирды, солону ворошат прошлогоднюю. Может, их кто видел, да только кому они и на что нужны, своих ослон в айле хватает. Я к чему? А к тому, что присмотрю парочку, соли им понесу, буду потихонечку выхаживать. А настанет день, пригоню их ночью. Погрузимся и в полночь двинемся в ту, Чаткальскую, сторону, чтобы к утру удалиться от айла, чем дальше, тем лучше...»

Вскоре запели дальние петухи, а потом и у соседей. Исмаилу пора было уходить. Он засобирался и перед выходом склонился над малышом, потом сказал матери несколько слов на прощанье. Было уже сумеречное предрассветье. И все в айле еще спали. Холодная тишина покоилась на всей видимой земле. И, кажется, собирался снег — тучи на западе наплывали сплошным темным покровом. Сейде вышла его проводить и во дворе сказала мужу:

— Слушай, Исмаил, если завтра ночью я не буду тебя поджидать вот здесь, то ты не заходи

домой, сразу возвращайся к себе.

— А что, что такое? — встревожился Исмаил.

— Мне кажется, мать тяжело больна. Она не показывала вида, это чтобы тебя не расстраивать. А лечить ее надо. Лекарю надо ее показать. А как же иначе?

— Вон оно в чем дело, — протянул Исмаил. — Больна, говоришь, тяжело. Ладно, учту. Лечи. Может, травы какие помогут.

На том они попрощались. Сейде долго еще провожала его взглядом. Он шел задами по своей знакомой тропке, вот он миновал соседские дворы с краю — Сатымкула и тетки Тотой, свернул к большому арыку и скрылся из виду. Сейде представила себе, как в полном безлюдье, скрываясь среди зарослей чия, дойдет он до своего укрытия в предгорьях и ляжет спать, укрывшись тяжелой шубой. В этот раз, однако, на душе у нее было полегче, ибо появилась цель, ради которой им стоило жить, — готовиться к уходу на Чаткал.

Когда же Сейде вернулась в дом, то буквально с порога навалилась поджидавшая беда — свекровь тихо стонала в забытьи. Сейде кинулась к ней, опустилась на колени, обняла ее, прижала к себе. Старушка было плоха. Прижимая ее к себе, Сейде почувствовала, как легка была она, хрупка и костлява. В чем только душа держалась. И если бы не седые космы, выбившиеся из-под платка, можно было подумать, что то был подросток. Дышалось ей худо. Сейде боялась заглянуть свекрови в глаза, боялась увидеть нечто непоправимое.

— Эне, энекебай [27], успокойся. Сейчас тебе станет легче, возьми себя в руки. Сейчас я тебе помогу! — приговаривала в растерянности Сейде. — Покажи мне, где у тебя болит. Вот здесь, да? Что же нам делать? Я сейчас приложу сюда горячую кошму, а потом раскаленные зерна. И чаю горячего... Ты только потерпи.

Мечась по дому, вздувая огонь, чтобы раскалить на сковородке зерна кукурузы, которые она затем в узелке приложит к больной свекрови, в качестве горячего компресса, Сейде лихорадочно думала, как же ей быть теперь. Следовало в таких случаях незамедлительно показать больную знающим людям, выслушать совета, а затем — и это было главное — пригласить какого-то известного в округе знахаря-лекаря. Но все это несло с собой потенциальную опасность, непредвиденность, неожиданность для скрывавшегося Исмаила, опасность, связанную с присутствием чужих людей в доме. Сокрытие мужа оставалось при всех случаях главным делом.

И заметались мысли, заметалась несчастная душа Сейде между мужем и свекровью. И так, и эдак думалось. И потом, когда уложила старуху в постель, и та, пригревшись, стала чуть меньше стонать да охать. Сейде решилась.

Было уже утро. Быстренько накормив ребенка, Сейде понесла его к соседке Тотой, чтобы та час-другой присмотрела за малышом заодно со своими, а сама пошла к старухе-повитухе, той, что год назад принимала у нее роды, посоветоваться, как быть. Повитуха обещала захватить с собой знакомую знахарку и только к полудню пришли они, наконец, когда терпению Сейде приходил уже конец. Но их посещение носило чисто сострадательный характер. Посидели, порасспросили, чай попили, успокаивали старую Бексаат добрыми пожеланиями и посоветовали призвать большего лекаря — старца Эмчи-Мусу, того, что жил за рекой, в маленьком аиле Арча. Опять приш-лось Сейде упрашивать соседку Тотой посидеть у постели свекрови, и хорошо, та согласилась присмотреть за больной, заодно и за ребенком, и своих детей привела.

А сама Сейде побежала то дорогой, то тропкой в аил за рекой в Арчу, к лекарю Эмчи-Мусе. Она обрадовалась, что застала его на месте. Тот обещал прибыть к вечеру. И снова Сейде поспешила домой, снова переходила обмелевшую на зиму реку бродом, а вода доходила выше колен, и ледяной обжигающий холод пронизывал до костей. Быстро обувшись, Сейде согрелась скорой ходьбой на косогор, а потом ей стало даже жарко.

И всю дорогу, в ту и другую сторону, думала она о том, чтобы смилостивился Тот, по чьей воле происходит все на свете, не дал бы свекрови помереть, ибо с каждым часом ей становилось все хуже и хуже... Но не только это терзало ее душу. Думалось о том, как быть теперь, когда секровь больна и, судя по всему, надолго; как быть с ребенком, на кого его оставлять, как быть с мужем — теперь ему не сунуться в дом, а ей самой не сбежать к нему в укрытие в горах. Голова шла кругом. И больше всего молила она Бога, чтобы исцелил он ее свекровь, чтобы она могла, как прежде, передвигаться и что-то делать по дому, и самое главное — смогла бы держаться верхом на оседланном осле, когда они всей семьей в один прекрасный день двинутся в заветный запредельный Чаткал, где смогут жить вольно и безбоязненно. И думала она, ведь столько людей болеют и выздоравливают, неужто не суждено ей встать на ноги? А если свекровь останется лежачей больной, то как тогда они двинутся в Чаткал — не бросать же ее одну на произвол судьбы? А если оставаться возле больной, то как быть Исмаилу? Ведь со дня на день его могут несомненно обнаружить: вот начнутся всякие весенние работы на полях, скот выгонят на пастьбу, так никуда ему не деться, не один, так другой заметит его, и тогда всему конец...

вернуться

27

Эне, энекебай — мать, матушка.

Быстро шагая по кочковатой, смерзшейся земле, тяжкую думу несла в себе Сейде, и тяжкую и мятущуюся в поисках выхода из безвыходного, отчаянного положения.

И все надежды ее были теперь на исцелителя Эмчи-Мусу. Старец был знаменит в округе, лечил травами и молоком. И теперь Сейде молила бога, чтобы он осенил Эмчи-Мусу таким исцелительным таинством, когда бы за несколько дней старая Бексаат распрощалась с хворью и снова приглядывала за домом, и снова ждали бы они ночами Исмаила и вели разговоры о сборах, считали бы дни, когда им суждено будет с поклажей на двух ослах двинуться всем в Чаткал...

Как и обещал старец Эмчи-Муса, он прибыл к вечеру. А перед этим Сейде вышла из дома и стояла на пригорочке, поджидая лекаря, чтобы старец безошибочно нашел их двор.

Она завидела его фигуру в лисьем малахе еще издали, едущего на сером ослике, и опять помолилась Богу, чтобы все образовалось лучшим образом для больной, которая, узнав, что приедет сам Эмчи-Муса, немного взбодрилась, хотя боли в боку не отпускали ее весь день с утра и до вечера.

Эмчи-Муса был крупным стариком, смуглолицым, с крючковатым большим носом, с белой бородой и очень внимательным, внушительным взором. И в этом взгляде и в голосе была его сила.

— Что же ты мерзнешь здесь, доченька, я бы и сам нашел дорогу, спросил бы, где дом старухи

Бексаат, — пробасил он, приближаясь к тому месту, где ждала его Сейде.

— Не беда, не беспокойтесь, я не мерзла, — ответила Сейде. — Кого же ждать нам, если не такого человека, как вы, Эмчи-ата! — промолвила она, улыбаясь старику.

— Ну-ну, — продолжал тот, — так веди меня, где она там, бедняжка Бексаат, что там с ней? Вот беда-то. Сын на войне, сама больная, холод и голод кругом...

Старец семенил на ослике, приближаясь к дому, она шла рядом.

— От мужа-то есть вести какие? — поинтересовался Эмчи-Муса.

— Нет, давно нет никаких вестей, — проговорила Сейде, чувствуя, как стало ей не по себе от этого вопроса. Старец помолчал и потом добавил.

— Что же, война есть война. Однако каждому свое написано на роду.

«Что хотел он этим сказать? — подумала Сейде и вся съежилась изнутри, напряглась в ожидании, что старик вдруг скажет: „А правда ли, что Исмаил твой в бегах?“

Но тот ничего не сказал, и тем временем они были уже во дворе. Сейде помогла старцу сойти с седла и повела его в дом. И когда они подходили к дверям, Эмчи-Муса приостановился:

— Доченька, я понимаю, как тебе тяжело, — промолвил он, внушительно и даже сурово глядя ей в лицо. — Будем надеяться, что все обойдется к лучшему. Но когда я буду осматривать и скажу, как лечить, — травы я с собой привез, вот они в сумке, — то запомни, ни о чем не допытывайся и не расспрашивай сверх того, что я сам скажу. Ты поняла меня?

— Да, Эмчи-ата, я поняла вас.

Вначале, когда Эмчи-Муса переступил порог, он улыбнулся из-под седых усов больной, лежащей в углу:

— Что это ты надумала, Бексаат, не ко времени разболелась. Повременила бы.

У свекрови не хватило сил ответить лекарю в этом тоне.

— Тяжко мне, Эмчи-Муса, — с усилием, с надрывом простонала старушка. — Может, снадобье какое подскажешь.

— Ну-ну, сейчас, сейчас подумаем.

Сейде молча стояла в углу, чтобы не мешать. И пока Эмчи-Муса занимался своим делом у постели больной, Сейде думала о том, что придется на ночь позвать кого-то из аильных старух или соседей, чтобы не быть одной в такую ночь, и очень переживала за Исмаила, которому теперь не следовало и близко подходить сюда. Обидно и горько было за мужа, за свекровь, которая лишена возможности видеть единственного сына, находящегося не где-нибудь вдали, а рядом с аилом, в полчасе ходьбы.

А тем временем Эмчи-Муса, сосредоточившись, точно бы он улавливал неведомые другим звуки, хмуря брови, прощупывал пульс больной — в его мосластой, длинной длани запястье старушки Бексаат, исхудавшей на глазах, казалось детской ручонкой. Затем лекарь долго водил ладонью, то слегка прикасаясь, то вдавливая пальцы, по животу, по бокам больной и, находясь подле нее, молча обдумывал нечто, только ему известное, и чем дальше, тем больше

мрачнели его глаза. От Сейде это не прошло незамеченным. Она стояла в углу за печкой и как бы читала на расстоянии мысли лекаря по выражению его лица и глаз. Холодело на душе. Все тревожней становилось затянувшееся молчание старца Эмчи-Мусы. Сейде понимала, что в этот час испытывает и сама больная, пытаюсь угадать, что ей грядет. Думала она, не сходя с этого места, и о том, что постоянно угнетало и омрачало ее душу — об Исмаиле. Как-то он в этот час, что думает, тревожится, поди, о матери, но куда денешься, и сказать ему об этом она не имела права. За всех переживала, за всех страшилась, готова была взять на себя все беды и мучения, но перед смертью, дававшей уже знать о себе в заострившихся чертах свекрови, она была бессильна. Слезы напрашивались, замутняя взор, и ей стоило большого усилия унять себя.

Старый Эмчи-Муса не сразу ушел, не сразу взгромоздился на своего ослика, было уже темно, когда он попрощался с Сейде на дворе:

— В доме теперь одна не оставайся, — сказал он ей. — Меня больше не ждите.

Она поняла с полуслова, о чем шла речь. И когда старый знахарь округи Эмчи-Муса скрылся на своем ослике во тьме, ни разу не оглянувшись, она почувствовала охватившее ее великое, безмерное одиночество перед лицом некоей бестрепетной силы, вторгшейся в ее жизнь, как резкий ветер в окно. И то, что повеяло холодом, незримо прошло в дом. И она пошла следом, чтобы быть на месте и не уклоняться от новых страданий. Теперь ей предстояло взять на себя роль главнейшего лица. И она сказала себе, что будет находиться у изголовья свекрови до последнего ее дыхания и за себя, и сына, и за родных ее братьев Усенкула и Арына, убежавших от раскулачивания в Чаткал. За всех и за все брала она теперь на себя последний долг живых перед умирающей свекровью. И она вошла в дом, сделав для себя открытие — смерть могла принять от людей только примирение и ничего иного.

С этого часа Сейде ни на шаг не отходила от умирающей свекрови. Измученная, исстрадавшаяся старушка медленно угасала, постепенно теряла дар речи и, собравшись с силами, тяжело дыша, тоскливо, жалостливо вглядывалась в лицо невестки и хотела напоследок что-то сказать ей — быть может, самое сокровенное и главное, то, что является напоследок, на самый конец судьбы и никак не раньше, но сил не хватало, и в доме было уже много людей, прослышавших от соседей о последнем часе старой Бексаат. Люди тихо приходили и скорбно уходили, сочувствуя, сострадая, выражая свое отношение в тяжелых вздохах, иные без лишнего шума принимались делать по дому то, о чем следовало заранее позаботиться в таких случаях: приносили дрова, кто чашку муки, кто ломоть топленого сала, собирали по соседям посуду, раскидывали по двору солому под ноги...

А ночь уже близилась к половине урочного времени. Глоточками воды с ложечки облегчала Сейде последние часы и минуты свекрови. Умирающая Бексаат знала, что истекает отпущенный ей срок на веку и потому, утрачивая силы, пыталась сохранить в себе речь, но это уже ей не удавалось, и тогда она пыталась говорить глазами. Эти прощальные взгляды, пронзительно прорывались на мгновение сквозь пелену забвения и предсмертного тумана, выражавшие мучительные всплески избывающего духа, говорили Сейде о многом, что могла знать только она. И никто не слышал, как плакали они в один голос на прощание, песню горестную пели о том, что порушилось задуманное дело, как несбывшаяся мечта, что не двинутся они всей семьей на Чаткал, как очень того хотели, — и сын, и невестка, как мечтали увезти ее к покулаченным братьям, чаткальским отшельникам, что не свидится теперь она с ними никогда. И более всего страдала Сейде, что не усадит она старую свекровь свою верхом на ослицу, не подаст ей на руки укутанного внучонка и не двинутся они в путь темной ночью. Нет, такого исхода не будет. Не приведется им переживать ночь-шикаму [28] перед штурмом Чаткальского перевала, согреваясь в затишке между скал и снегов маленьким костерком и не

будут они заклинать над огнем перевальных духов, чтобы духи гор смилоствивились, отвели бы гибель на горном пути, ибо нет от них зла никому, а идут они на перевал потому, что Исмаил военный беглец, оттого и гонимый самим собой от закона и наказания; с ним и они — мать и жена, а у них бабья доля — за всех страдать и терпеть...

вернуться

28

Шикама — накапливание сил перед перевалом.

И на этом кончалась последняя песня — потому как смерть отбирала будущее — не ходить было расстояния, не испить было воды по пути, не увидеть было уходящей в мир иной братьев родных из Чаткала, не поведать им, с чем и как вслед за ними пришла...

Так протекала та скорбная ночь у изголовья свекрови.

Среди многих дум, передуманных Сейде, то и дело вкрадывалась как бы со стороны тревога за мужа. Как-то он там, ее Исмаил. Как ему быть теперь, когда мать умирает, а ему ни прийти, ни показаться нельзя... Отчего же все так? Оттого, что он хочет жить по-своему, а закон, людской сговор, велит по-иному. А сила на стороне закона, большинства, а он бежит от закона. Потому и хотели податься на Чаткал, где бы его никто не знал и не ведал...

х х х

Он шел в ту ночь, как всегда, по хорошо изученному пути, вначале под малыми увалами предгорий, потом среди зарослей чия в суходоле, выходил краем поля к обрыву, откуда уже виднелся аил в лунную погоду: крыши, трубы, освещенные окна. И Исмаил отсюда с крайней осторожностью двигался огородами, прислушиваясь, оглядываясь, к своему двору.

Последний отрезок пути и в этот раз он проделал с тщательной осмотрительностью, но чем ближе подходил к дому, тем тревожней и неуверенней становилось на душе Исмаила. Что-то подозрительное, а что именно — приходилось вникать: какие-то шевеления, какие-то негромкие, неразборчивые голоса насторожили Исмаила, и он остановился под тополем на огороде тетки Тотой. Дальше он не пошел. Долго унимал зачастившее вдруг дыхание, хотя и не испытывал напряжения в ходьбе. Сердцебиение не успокаивалось, сердце чувствовало какую-то беду. Значит, Сейде была права — с матерью плохо.

При этой обжигающей мысли Исмаилу стало не по себе. Он сдавленно застонал, прижимаясь к стволу дерева. И, прислушиваясь, убеждался — на дворе хождения, голоса, в доме люди. Значит, дело гиблое. Сердцем он был готов кинуться в дом, растолкать собравшихся, перепугать их своим диким видом и неожиданным появлением, броситься к матери — быть может, она умирает! — и разрыдаться, целуя ее холодеющие руки, утонуть, уплыть в плаче, в покаянии за то, что заставлял ее так страдать, как никакая другая мать не страдала, зайтись в плаче так, чтобы все померкло, исчезло в мире, чтобы все развеялось по свету — и война, охватившая кровавым бредом земли и страны, и сам он, рискнувший избежать той фронтовой участи и теперь прозябающий за это в страхе, в ничтожестве, в низости. Да, да, да — плакать и рыдать до умопомрачения, до тех пор, пока Сейде, его верная жена, не оторвет его от грязного, заплаканного пола и обтирая его лицо от слез, не оттащит в сторону, где он мог бы забыться, раствориться, исчезнуть навсегда, чтобы никто не смел бы схватить его за руку и спросить — а ты почему не на фронте?!

Но разум охлаждал эти сиюминутные слабодушные порывы. И он не сдвигался с места, казнил себя, проклинал, но не собирался объявиться на людях столь сумасшедшим образом, даже если мать была при смерти. Утешал же он себя тем, что мать простит ему, что она молила Бога, чтобы он уберегся, ушел бы и не появлялся ни в каком случае. И потому надо уходить пока не поздно — говорил он себе, но и уйти не хватало решимости. Наоборот, какая-то неодолимая тягостная сила не отпускала его и заставляла шаг за шагом приближаться к дому. Он остановился за сараем и тут уже наяву услышал хождения и людские голоса. Вот кто-то кашлянул, кто-то выплеснул воду из ведра. Послышался конский топот и кто-то кого-то спросил:

— Ну что, Мырзакул, плохо что ли?

— Да, надежды мало, — ответил тот.

Потом звякнуло стремя, ударившись о что-то железное, и топот копыт удалился со двора.

Исмаил понял, что то был Мырзакул, дальний родственник, которого он не видел давно, по крайней мере, тогда у него обе руки были на месте, а теперь, говорят, потерял руку на фронте и теперь его зовут «Чолок Мырзакул» — однорукий Мырзакул. Ну, председатель сельсовета. Ну и что? А без руки, это же представить себе, как жить без одной руки! А он, Исмаил, не захотел оставаться без руки, тем более без головы. За это вот расплачивается, за это казнит себя и бережет...

Но лучше бы он не подходил ко двору и не прислушивался к тому, что делается там. Совсем расстроился, извелся духом. И ничего иного не оставалось Исмаилу, как потихоньку возвращаться назад. Было уже далеко за полночь, когда он последний раз обернулся на оставшийся внизу аил — все было во мраке и только в одном месте светились не угасая два окошка рядышком. То был его дом, а в доме том умирала его мать.

Рано утром Исмаил уже шел, прячась по неприметным местам, снова в направлении аила. Нет, не улеглась встревоженная накануне душа, тянуло его поскорее к аилу, к дому, хотя что это могло дать, каким образом что-то прояснить — Исмаил не мог ответить себе. И однако он шел.

День обещал быть холодным. Ветер настойчиво дул с гор. Приходилось прятать голову в ворот шубы, нахлобучив шапку поглубже, — так он и шел, в полном одиночестве, с тревогой и болью в глазах, в огромных кирзовых сапогах, засунув руки в карманы.

У обрыва, где обычно открывался вид на аил, он остановился, учащенно дыша, прилег за кустом и стал всматриваться, насколько хватило видимости, — что происходило в аиле. И ничего толком рассмотреть не мог. Дымы поднимались над крышами, смутно доносились голоса детворы возле школы, ржание коня, лай собак... Но его интересовало в первую очередь, что дома, что в собственном дворе, и опять же толком ничего не различил, не рассмотрел. Хотя, как показалось ему, какое-то оживление, какие-то снующие люди... кажется, можно было угадать. А что к чему, что там происходило, сказать было трудно. Ему бы поближе подвинуться, возможно, тогда картина стала бы яснее, но он не решался на такой риск. Так и промаялся он, затаившись в кустах до полудня, лежал, продрогший, угрюмо прислушиваясь и тщетно вглядываясь. Потом ушел в укрытие и к вечеру, зло озираясь по сторонам, снова вернулся на прежнее место наблюдения. И в этот раз он понял, чутье подсказало, что мать скончалась, — оживление и голоса во дворе, какой-то рыдающий выкрик свидетельствовали, что смерть наступила в тот промежуток времени, когда он уходил в укрытие, где была у него какая-то пища про запас и находилось его оружие.

Теперь сомнений не оставалось. Матери пришел конец. Точно тяжелый камень лег на душу. Он лежал за кустом, как убитый зверь страшного обличия.

А с наступлением, темноты, уже поздним вечером. Исмаил оказался на аильских огородах, возле корявых зимних садов, потом передвинулся к тому самому тополю, где выжидал прошлой ночью. И здесь замер. Теперь уже не оставалось никаких сомнений — мать была мертва. Во дворе горел костер, должно быть, грели воду в большом котле. Голоса разные доносились. И снова слышал он голос однорукого Мырзакула. Что-то он там советовал, распоряжался. Ему что-то ответили. Приезжали и уезжали верховые. Значит, хоронить будут завтра. С утра подготовятся, оплакивать будут, молитвы совершать, а к полудню понесут на кладбище, что на косогоре, над аилом. И тут только подумал Исмаил, что надо ведь заранее выкопать могилу. Кто же это сделал? Откопали яму или на утро оставили? Решил на обратном пути заглянуть на кладбище и удостовериться, готова ли могила. Так стоял он под топодем удрученный, растерянный и подавленный.

Потом он тихо побрел окраиной в сторону большого аильского кладбища на косогоре. Шел наугад, во тьме, то проваливаясь в какие-то колдобины, то спотыкаясь, и больше потому, что взор его был мутен от душивших исподволь слез. Он даже подумал: кто я, куда я иду, и что со мной, зачем я живу на свете?

На старом косогорном кладбище он не бывал так давно, что и не помнил, когда он тут ступал в последний раз. Помнится, еще до войны, после курсов трактористов, посадили его вначале на конную сенокосилку, а сенокос был возле кладбища и тогда он в полуденную жару, выпрягнув коней, ходил с парнями ловить перепелов. А перепела паслись в неприкасаемых густых кладбищенских зарослях, поскольку никто, конечно, не посмел бы косить сено среди могил. Сейчас он вспомнил об этом, о тех безмятежных летних днях, о душистых травах, о стрекозущих кузнечи-ках, о птицах, самозабвенно поющих и на небе и на земле, о солнце, которое столь обильно, что его никто и не замечал, о медовом пьянящем настое воздуха. Думал ли он тогда, что пройдут годы, и будет он, как затравленный зверь, пробираться темной зимней ночью на кладбищенский косогор, полный жгучей обиды, страха, ненависти ко всему, что привело его в это состояние. Не верилось Исмаилу, что это то самое место. В тусклом лунном свете чернели между снежными проталинами могильные холмики. Одиноко, пусто, холодно. Могила для матери оказалась уже готовой, начисто открытой. Это не трудно было обнаружить по свежей глиняной насыпи возле зияющей ямы.

Значит, позаботились добрые люди, значит, похороны будут завтра к полудню.

Исмаил остановился возле будущей материнской могилы, стоял, опустив голову, уперев неподвижный взгляд в темную глубокую яму. Если бы он мог каким-то образом умертвить себя, он хотел лечь на дно этой могилы и умереть здесь, чтобы на другой день похоронили и его вместе с матерью... Но умертвить себя было так же трудно, как явиться с повинной к людям...

На другое утро Исмаил снова потащился в сторону аила. Продрогший в своей пещере, он брел, зябко поеживаясь и кашляя, прикрывал рот ладонью. В этот раз он шел в сторону кладбища с тем, чтобы если и не участвовать на похоронах матери, то хотя бы издали наблюдать, как другие будут ее хоронить. По пути он приглядел удобную для себя балочку, двигаясь по дну которой, он мог незаметно сопровождать процессию, так чтобы оставаться незамеченным и в то же время быть достаточно близко к кладбищу.

Потом он спрятался среди больших камней-валунов неподалеку и стал ждать.

Время тянулось медленно. И теперь, уже успокоившись и примирившись с тем, что произош-

ло, вспомнил он последний день, когда в последний раз виделся он с матерью, с женой и сыночком. Прошло с тех пор два дня, две ночи, а казалось, что было очень давно. Больше всего горевал теперь Исмаил, что задуманное дело ухода в Чаткал сразу же столкнулось с неудачей, и все, на что он рассчитывал, теперь следовало передумать, и если доберется он с женой и сыночком в Чаткал, то как рассказать дядьям-братьям о смерти и похоронах их сестры, поймут ли они его...

Похоронную процессию Исмаил увидел еще издали. Большая толпа людей, многие среди них были верхом на лошадях и ослах, показалась в боковой улице, как и ожидал того Исмаил. Толпа шла медленно с подъемом на косогор; впереди на конных носилках, устроенных на седлах между двумя лошадьми, покоилось тело усопшей, завернутое в плотную кошму. Вот и все. В последний путь провожали старушку Бексаат односельчане. О чем говорили люди при этом, Исмаилу не дано было знать. Процессия подходила все ближе и ближе к тому месту, где он притаился. Женщин среди провожающих не было и не полагалось, потому что в этих местах женщины не ходили на кладбище, а оставались дома, чтобы встретить траурным плачем вернувшихся с похорон мужчин. По всем правилам Исмаил должен был возглавить с кладбища верховых сородичей и первым возгласить плач после погребения в доме усопшей, должен был громко причитать и, рыдая, припадать к луке седла, а Сейде полагалось затянуть в ответ поминальную песню... Но это не дано было им, оказавшимся в жерновах между законом и поступком беглеца...

Но вот толпа остановилась на кладбище возле вырытой накануне могилы. Исмаил видел из-за соседнего пригорка, где он укрылся, как протекали похороны. Судя по всему распорядился погребением Мырзакул. Он шел к месту захоронения от кучи лошадей, повязанных в стороне между собой, и все люди, расступившись, дали ему дорогу.

Покойницу в кошме сняли с носилок, уложили на краю ямы и, собравшись все в большой круг, долго слушали молитвы муллы, люди повторяли за ним отдельные возгласы, и казалось, то был улей пчел. Потом толпа снова зашевелилась — покойницу опустили на дно могилы и стали быстро засыпать яму.

Все это он видел со стороны и молча кусал губы до крови.

Когда народ ушел с кладбища, когда не осталось ни одной души, но голоса еще были слышны на отдалении, Исмаил пополз к могиле матери. Он полз с обезумевшим лицом, опираясь на дрожащие руки. И здесь он упал на свежую насыпь и, обнимая кучу глины, зарыдал удушливым, хриплым плачем. Трудно было разобрать, что он выкрикивал, кого и что он проклинал, задыхаясь от горести и ярости, как обезумевший, осиротевший волк. А потом, как пьяный, он стал орать во весь голос: «Мама, мама, прости! Прости меня! Прокляни меня! Прокляни на том свете! Прокляни войну! Прокляни! Прокляни войну!»

Потом стих на минутку, точно бы обдумывал что-то, и затем грозно и яростно прокричал: «Ненавижу! Отомщу, отомщу, всем вам отомщу! Никого не пожалею!»...

«Совсем недолго осталось, вот и весна пришла. Больше терпела, а теперь-то и вовсе стерплю! — думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зерен с ладони на ладонь. — Только бы Исмаила уберечь. Ладно еще, в аиле поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахско-й стороне, у свояков... Вот и хорошо, пусть говорят... Продадим телку, припасем муки на дорогу, и ночью выберемся из аила, уйдем... Да, уйдем отсюда...»

Пьянит пригретый весенний воздух... А хорошо мечтать: забываешь, что сосет под ложечкой.

Вечером, когда Сейде молола талкан, зашел Асантай. Мальчик заметно отошал за последнее время: под глазами густая синева, из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки.

— Мама послала меня за огнем, — сказал он, застенчиво переступая с ноги на ноги то и дело поглядывая на кучку талкана у жернова.

Дети есть дети! Кого не тронет невинный взгляд мальчика, говорящий с мольбой, что он хочет есть! Сейде положила ему в ладошки горсть талкана. Мальчик запрокинул голову, насыпал талкана полный рот и, очень довольный, шмыгнул носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными талканом:

— Сейде-джене, когда отелится корова, мама нам сварит молозива. И я принесу кусочек вашему Амантурчику. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог!

— Сердечный ты мой, да сбудутся твои желания! — растроганная Сейде привлекла его к себе, поцеловала в глаза. — Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак, пусть только отелится корова! Вот тогда и принесешь нашему малышу, у него уже зубки есть!

Она вспомнила, что и Тотой, и ее дети все еще ничего не знают о гибели отца, все еще ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чем она думает. Спросила как бы между делом:

— Матери-то лучше стало? Вчера, кажется, ходила по воду.

— Сегодня опять лежит, голова болит. Я хотел остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит: если не перейдешь во второй класс, отец, когда вернется, ругать будет.

— А то как же? Конечно, будет ругать. Вот вернется и...

Мальчик часто замигал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул.

— Ты что это, разве можно так вздыхать! — прикрикнула она на него. — Ваш отец вернется, только не вздыхай так, это нехорошо!

После того, как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушел, Сейде долго сидела подле джаргылчака, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика, почти ребенка, потряс ее. Сам с ноготок, а все понимает сердцем. «Сирота! — думала она подавленно. — Да и Тотой, конечно, догадывается, только молчит... И что ж ей делать, бедняжке? Ну-ка, попробуй прокорми трех сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка — все лучше, чем ничего... Только одна надежда у них теперь — на корову. Должна была скоро отелиться, да что-то затягивает, должно быть, перегуливала в прошлое лето. Тотой по утрам ругается на дворе. „Чтоб ты, — кричит, — околела! Сколько еще ждать, да когда же ты отелишься? Ребятишки извелись без молока, а тебе и дела нет, ходишь себе, даром корм жрешь!“ Оно и верно, дождаться бы им молока, тогда уже не так страшно. Да-а, как-то сложится теперь у них жизнь? Тотой часто стала приваливать. Жалко Байдалы, ведь сам бросился на мины, знал, что погибнет, и бросился... Это он по доброте своей... Судьба... Ничего... как-нибудь будут жить, дети подрастут. Трудно, конечно... У каждого горе-горькое. У них свое, у нас свое. Вот уйдем в Чаткал, может, легче будет... Тотой как-то спросила, словно невзначай: „Правду говорят, что Исмаил сбежал?“ А что я ей отвечу? „Не знаю, может и сбежал, да только у нас он не показывался“. Кто верит, кто нет... Только Мырзакул не попался бы на глаза, Мырзакул не пожалеет: он враг! Боже, охрани нас от Мырзакула!..» Долго еще

сидела Сейде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала ее смутная тревога, из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные просящие глаза. Сейде мучило предчувствие беды.

Она вышла во двор. Погода к ночи испортилась. Сырой, промозглый ветер гнал тучи с запада. Мрачно наплывали они на небо. Гор уже не видать. Луна катилась против ветра, увязая в тучах. Иногда она совсем исчезала и где-то мельтешилась там, во тьме, ее зыбкий свет едва пробивался сквозь слой туч. «Скоро снег пойдет... Как-то там Исмаил?»

Утром Сейде пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо, большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Тотой послышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. «Что там у них стряслось?» — встревожилась Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору Тотой. «Решили, что Байдалы будут оплакивать осень, неужели кто-нибудь проговорился?» — строила она догадки.

Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу остановилась ошеломленная. Из гомонящей толпы вырвалась Тотой: волосы ее были растрепаны, чапан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она побежала к дверям сарая и закричала истошно, колотя себя в грудь:

— Да вот же, милые мои, вот, родимые, посмотрите: сорвали замок и увели! О-о, горе мое, о-о, покарал меня Аллах! О-о, горе мое!

Кто-то крикнул, пересиливая голоса:

— А вечером ты сама ее привязывала? Сама запирала дверь?

— А то как же, родимые, сама, сама! И даже вымечко щупала, наливала она вымечко... Ребята совсем извелись, только и ждали молочка! Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! А чтоб руки у меня отсохли!

Когда Сейде поняла, что случилось, ее охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибежал Асантай и как он говорил о молозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда. Он встал сейчас перед ее глазами: худенький, с тоненькой шеей, в отцовской телогрейке с засученными обтрепанными рукавами — стоял и доверчиво улыбался измазанными в талкане губами.

«Кто это мог решиться на это, какая подлая, черная душа?» — негодуя, думала Сейде. В лицо били мокрые хлопья снега и струйками стекали за шею, она все стояла и не могла сдвинуться с места, смотрела, как ребяташки Тотой с ревом цепляются за полы ее чапана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бегал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал: «Мама, мама!» Но Тотой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая осипшим, надорванным голосом.

— Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор! Будь проклят дом без мужчины!

«Дитя застудится совсем, посинел весь!» — прошептала Сейде. Она хотела подбежать к ребенку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон Курман. Остановив малыша, он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, сгреб мальчика в охапку и, прикрыв чапаном, понес к себе. Кто-то поднял с земли брошенный Курманом кушак, поднял его, бережно обтер рукавом. Когда Курман проходил мимо Сейде, она видела, как он, прижимая ребенка к груди, согревал его своим дыханием.

— Всех вас разберем по домам, прокормим, вырастим, не бросим, не оставим вас! — говорил он сам с собой. Его мокрая борода подрагивала, в глазах стояли слезы.

Почти весь аил сбежался во двор к Тотой. Неслыханное дело! Правда, случалось и раньше — уводили со двора коров или овец. Бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому, что вор поднял руку на самое святое для всех людей в аиле: «Кто посмел тронуть сиротскую семью Байдалы?» Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Мырзакул уже несколько раз пронесся мимо двора на коне, кружил где-то по улицам и наконец прискакал вместе с табунщиком Барпы. Как вихрь, ворвался он во двор в шинели с мотающимся из стороны в сторону рукавом, жестко осадил коня.

— Давай собирайся, народ! — закричал Мырзакул. — Кто может, на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем логам и оврагам, ищите! Корова — полдела, а вот эту подлую собаку мы должны найти.

— Верно говоришь! — зашумел народ. — Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдется, а нет, значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане! [29]

— Так оно и должно быть! Пошли по курганам!..

На улице Мырзакул подозвал к себе фронтовиков :

— Вы, ребята, солдаты... Вам задание: садитесь на коней и просмотрите дорогу в город!

— Мы-то готовы, да лошадей нет.

— Берите на конюшне! — приказал Мырзакул.

— Председатель скорее повесится, чем даст лошадей с конюшни в такую даль скакать. Кони к пахоте готовятся!

— А, чтоб его... председателя! — взревел разъяренный Мырзакул, и культа его вскинулась, мотнув рукавом шинели: — Сейчас же седлайте коней, я отвечать буду!..

Вместе с другими Сейде кинулась на поиски. За аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном пригибаясь к шее коня, промчался за бугор Мырзакул, а в другую сторону, надвинув малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? «Что, если они найдут Исмаила?» Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чиём.

Туман, словно больной, белесым жидким дымом волочился по лощинам, бессильный оторваться от них и подняться ввысь. Земля расползлась под ногами, мокрый снег пропитал одежду, и она тяжело давила на плечи.

Как птица, оберегающая свое гнездо, кружила Сейде по чийнякам, боясь навести кого-нибудь на убежище Исмаила. Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пугливо осматриваясь вокруг: не видно ли кого, не идет ли кто-нибудь по ее следу?

«О Боже, отведи руку и на этот раз, пронеси стороной! — молила она небо и прижимала руки к груди. — Как быть, что делать, научи! Если бы корова нашлась, на счастье этих детишек, то люди вернулись бы в аил! О Создатель, верни сиротам корову, молю тебя, я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына!»

С бугра на бугор, по оврагам бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль: если сейчас найдут корову, то народ вернется в аил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута.

Собрав силы, она побежала дальше. Заглядывала под каждый куст чия, за каждый уступ, лазила по колючкам, изодрала платье. Но нигде не было видно следов коровы. Во-он, в тумане зачернели развалины старого кургана. Может, корова спрятана там? Подожди, что это виднеется? Похоже на скотину. Да, да, в самом деле похоже! Ты же видишь: это небольшая черно-пестрая коровка! Ну да, боже мой, так оно и есть!

От внезапно нахлынувшей радости Сейде задохнулась. Она остановилась: отнялись ноги. И сразу же пришло решение: «Сейчас взбегу на большой бугор и буду сзывать народ, пусть все возвращаются в аил. Приведу корову во двор к Тотой и привяжу в сарае. Только бы это в самом деле была корова... или мне только мерещется?»

В один дух добежала Сейде до кургана и... помертвела. Это не корова, это глыба дувала, обвалившаяся внутрь двора.

Туман все так же вяло стелился по земле. В развалинах дувала весенний снег густо облепил шишковатые макушки прошлогоднего репейника, мелкими белыми наростами покрыл стебельки молоденькой зелени, только что пробившейся на свет.

Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотащилась до аила, кособокие двери коровника во дворе Тотой были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота.

Дома, надрываясь, кричал ребенок. Должно быть, он плакал весь день: глаза закатывались, были видны одни белки, дыхание перебивалось резкой икотой. И, как назло, переполненные, отвердевшие груди Сейде долго не пропускали молока, как ни старалась она сдаивать и выжимать. Она чувствовала себя такой же перенапряженной, скованной, челюсти сводила судорога, словно у лошади, которую расседлали и в поту оставили на ночь под ветром.

Не было никакого желания затопить печь, на душе холодно и неудобно, как и в доме. Сейде томила сонливость. Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.

вернуться

29

Курган — заброшенное глинобитное строение.

Ночью Сейде проснулась от стука в окно. Спросонок она чуть было не крикнула: «Кто там?», но спохватилась, поняв, что это пришел Исмаил. Она еще больше испугалась: «В аиле переполох, принесла же тебя сегодня нелегкая, боже мой!»

Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала:

— Скорей, в аиле плохо!

Быстро накинув крючок, она впотьмах повела Исмаила в комнату. Завесила окна и уже

собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела: ей показалось, что это сердце ее оборвалось и упало на пол. Дрожая, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое: это была торба с мясом.

— Так это ты! — сдавленно вскрикнула Сейде. Спазма перехватила ей горло.

— Тише! — Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. — Молчи, не твое дело!

Сейде молчала. В голове помутилось, будто кто-то грубо толкнул ее в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание: выскочить из дома и с воплем бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась, когда Исмаил глухо прикрикнул:

— Что сидишь, зажигай свет!

Сейде не шевельнулась.

— Зажигай, говорю, свет!

Исмаил наклонился и увидел, что Сейде ползет к нему на коленях...

— Ты... ты лучше бы зарезал нашу телку!

— Дура! — Исмаил схватил ее за плечо, рванул к себе. — Ты что болтаешь, не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком! Всяк для себя!.. Лишь бы самому нажраться... Какое твое дело до других? Хоть подыхай с голоду, никто тебе и ложки ко рту не поднесет. Всяк для себя! Кто рвет, тот и ест!

Сейде ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с ее плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахло полусырым недожаренным мясом.

— Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю, что ты молчишь? Если бы я зарезал свою телку, откуда бы ты взяла молока для ребенка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добирались до Чаткала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались, а ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет, всю зиму я дрог на холоде, теперь хватит... Буду воровать, буду грабить; не для того я сбежал из армии, чтобы здесь околевать как собака! Я не дурак и подыхать не собираюсь!

Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошел к окну, прислушался, спрятав сигарку в кулаке, и проговорил:

— Ну, что онемела? Припрячь мясо, вари его по ночам, а кости закапывай в сарае, да поглубже, чтобы собаки не разрыли! Он еще раз затянулся сигаркой, нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом, из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурочек на пол, придавил ногой и вышел.

Чем светлее становилось за окном, тем пристальней вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак от света занявшегося дня. Обняв детский бешик, Сейде все смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там, за этим маленьким оконцем, целый мир, аил, народ. Там живут Курман, Тотой со своими тремя детьми,

однорукий Мырзакул и Исмаил тоже... Да-а, Исмаил тоже... «Нет, ты не похож на них... Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!..»

Сейде собиралась. Уложила в узелок пеленки, надела чапан, туго подвязалась веревкой, как это делала соседка Тотой.

Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа на руках сына. Он спал, ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо капнула слеза матери. Потом Сейде подняла с земли торбу с мясом, взвалила ее на плечо и решительно шагнула за порог.

Сейде шла по едва приметной в чийняках овечьей тропке. За ней следовали Мырзакул — он ехал верхом на лошади — и двое солдат с винтовками.

Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейде шла в Малое ущелье, к чабанам. Больше она никогда не вернется в этот аил.

Солдаты тихо переговаривались между собой.

— Слушай, эта та самая, у которой свели корову?

— Да, по всему видать, она.

— Выходит, выследила его. Молодец баба! Только на кой черт она тащит с собой дите на руках?

— А кто ее знает! Чудная какая-то, ей-богу! Давеча председатель ей говорит: садись, мол, на лошадь, ты же с ребенком. А она ни слова в ответ, повернулась и пошла... Гордая, видать...

Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и дикой талой, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте.

— Вон там, за камышами! — показала она рукой, и кровь отхлынула от ее лица. Не сознавая, что делает, развязала узелок платка на шее, присела и сунула ребенку грудь.

Солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышам, Мырзакул занес ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди раздался окрик:

— Эй, Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе не сдобровать! Уложу! Убирайся!

— Руки вверх! Сдавайся! — крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперед.

В балке грохнул выстрел. Сейде вскочила на ноги. Она увидела, как Мырзакул привалился к шее коня, как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дергался в рукаве шинели. Потом тело Мырзакула обмякло, и он кулем свалился на землю.

Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми, беглыми выстрелами. В горах загремело эхо.

И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом :

— Эй, маржа! [30] Куда ты? Назад говорю! Назад! Убьет!

С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейде шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твердо, шла так, будто ей ничего не угрожало.

Губы ее были тесно сомкнуты, глаза широко открыты, и взгляд их тверд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед:

— Назад! Повертывай назад!

Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их.

На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, распростертый на земле с судорожно сведенными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далекие вершины гор

— все оцепенело в напряженном ожидании. Вот-вот раздастся выстрел, и женщина с ребенком на руках рухнет на землю.

Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с ее плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на ее лице. Гнев и решимость вели ее вперед. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга.

— Стой! Стой! — с отчаянием кричали солдаты.

Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде. И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене.

Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизились вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, не знакомая ему женщина: седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа на руках сына, и ему вдруг показало-сь, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своем скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею.

Исмаил пошатнулся, с силой швырнул винтовку навстречу подбежавшим солдатам и поднял руки.

вернуться

30

Маржа — от слова «Мария», обращение к женщине.